

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЕКАТЕРИНА МЕЩЕРСКАЯ



ТРУДОВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Мой отец А. В. Мещерский первым браком был женат на Елизавете Сергеевне Строгановой и имел от нее единственную дочь Наталью (Лили). Она вышла замуж за герцога Фабрицио Руффо, уехала в Италию, зажила там в своем палаццо и родила трех дочерей: Эльзу, Марусю и Ольгу. Их дед (мой отец) остался жить вдовцом в России.

Родившись в годы царствования Александра I, отец проходил военную службу в лейб-гвардии гусарском полку при Николае I, а затем не снимал военного мундира при Александре II, Александре III, участвуя во всех войнах, которые вела Россия со своими врагами. Имея бесконечное количество орденов (в том числе и самый высший — орден Андрея Первозванного), как царский сановник он имел чин шталмейстера двора и входил в кабинет государя без всякого доклада (таковым было право шталмейстера).

Встретив мою мать, которая была одного возраста с его старшей внучкой и была на сорок восемь лет его моложе, он понял, что жениться на ней он может только тайно, чтобы затем уже поставить всех перед совершившимся фактом. По своему положению и чину жениться без согласия государя он не имел права, а тот, конечно, этого брака не допустил бы. На свадьбе был самый узкий круг друзей и близких. Венчались ночью, при закрытых дверях, в Замоскворечье, в военном храме при Александровских казармах — для того чтобы тут же оставить Москву и навсегда переселиться на Украину в наш полтавский дворец, но... Не только высший свет, но все слуги, у которых на глазах родилась, выросла и вышла замуж Лили, тотчас дали ей в Италию обо всем знать.

Герцогиня (как и большинство людей) сочла маму авантюристкой. Ведь она так спокойно жила в Италии, уверенная в том, что ее три дочери имеют в холодной, заснеженной России три имени, два дворца, картинную галерею, конный завод, молочную ферму, — и теперь их приданое пропало? Кому достанется? И, узнав о польской крови Подборских, бешенству ее не было границ: «Там, где поляк, там и еврей», — и в своем слепом «русизме» она взывает к Николаю II: «Ваше величество! Помогите! Спасите от ограбления и бесчестия! Возьмите под опеку моего потерявшего рассудок отца. Девчонка — польская еврейка из кафешантана женила его на себе».

Государь рассвирепел. Ничего не проверив, он лишает моего отца звания и всех чинов. Отцу это было совершенно безразлично. Он был счастлив. И долго ли ему еще оставалось жить?.. Мама упрямивает его начать писать свои мемуары, и он увлекается этим. Никакая опала не может омрачить тенью их светлые, радостные дни. Однако мамин отец, П. С. Подборский, оскорблен до глубины души. Он надевает свой мундир генерала в отставке и едет в Петербург, добивается приема у государя. С ним все документы и нужные бумаги. Подборские (поляки из Литвы) имеют графский титул, и в их гербе лента короля Гедимины. Его дочь Катя окончила филармонию в Москве, у одного профессора (Бежевича) с Леонидом Витальевичем Собиновым, на выпускном экзамене пела с ним сцену рассвета на балконе из оперы «Ромео и Джульетта», затем дебютировала в Милане на сцене «Ла Скала». Николай II, поняв, что введен в заблуждение, передает Подборскому личное письмо А. В. Мещерскому, зовет его в Петербург для представления ко двору его молодой жены, пишет, что сам накажет герцогиню, оклеветавшую своего отца, и адресует своею собственной его величества рукой на конверте: «Шталмейстеру двора его сиятельству князю...» — и т. д. Опала снята и почести возвращены. Но не таков был наш отец. «Кто вас просил ездить к государю?! — негодует он на деда. — Я, кажется, вас об этом не про-

сил». «Я ездил в Петербург не для того, чтобы возвращать вам царские милости,— отвечает дед,— я ездил, чтобы снять ту грязь, которую надела на себя вместе с вашей княжеской короной моя дочь». И оба старика, еще недавно такие неразлучные друзья, делают это до самой своей смерти врагами. То дерзкое письмо, которым ответил наш отец государю, как и весь наш архив, было у нас изъято, но это письмо столько раз прочитывалось вслух, что, мне кажется, пересказывая его, я ничего не искажу: «Ваше императорское величество! Вы четвертый государь моего отечества, которому я служу, позвольте же мне уйти на полный покой и доживать мои последние годы в Полтаве в моем имении. Моя жена слишком правдивое и чистое создание, она не создана для сложной и полной тайных интриг жизни двора. Что же касается моей дочери, то не вы, государь, а сам Господь на том свете будет ее судьбою. Я же, ее отец, проклинаю ее и прошу не подпускать ее к моему гробу, когда я умру, и не разрешаю ей присутствовать на моем отпевании».

Одним словом, мой отец сделал все, чтобы людей разных слоев общества восстановить против себя. В книге воспоминаний на странице 93 он пишет, что князь Долгорукий, писавший «весьма почтенный труд о русских дворянских родах», совершенно не упомянул рода Мецеровских (который по Гербовнику значится с 1198 года). Это была месть Долгорукого за то, что сестра отца (наша тетя Елена) не приняла его предложения и не вышла за него замуж. Не знаю, кто после смерти отца заканчивал его воспоминания (то есть округлял их отрывки) и почему там напечатано, что отец умер в 1902 году. Думаю, что всей этой камарильей заправляла все та же Лили, за спиной которой стояла вся аристократия. Она все время утверждала, что мой брат и я — дети Паоло Трубецкого, сделавшего в бронзе скульптуры отца и нашей матери на лошади. Он был без памяти влюблен в маму и, едва кончился год траура, приехал просить ее руки, на что она тут же звонком вызвала лакея и просила подать лошадей, чтобы отвезти князя обратно на станцию. Так же точно она обошлась с пожилым поэтом графом Голенищевым-Кутузовым, на чьи стихи писали музыку такие композиторы, как Танеев и Мусоргский. «Я не могу принимать вас под крышей моего дома,— говорила она,— если вы, бывая у меня, могли допустить мысль, что я могу стать чьей-нибудь женой».

И эта участь постигала каждого.

Смертельная болезнь подкосила отца после того, как он, объезжая не знавшую еще узды лошадь, провалился с ней вместе под лед, который не успел на реке окрепнуть. Очаговое (или, как тогда его называли, ползучее) воспаление легких открывало все новые и новые очаги в его когда-то дважды простреленных легких. В те месяцы мама была беременна мною. Она не отходила от отца, и голова умирающего все время лежала на ее коленях. Как только сердце отца слабело и ему делали инъекции, он стонал, а я начинала биться в животе своей матери. «Что вы делаете? — негодовали врачи. — Подумайте о ребенке!!!» «Он мне не нужен», — отвечала мать. Когда отец скончался, мама впала в беспамятство, и ее унесли. Очнувшись, она потребовала, чтобы ее проводили в зал, где в гробу лежал отец. Ее ввели под руки. Увидев мертвого, она упала. У нее отпались ноги. Врачи бросились прослушивать, билась ли в ней новая жизнь. Но биения моего сердца не было слышно. На свет я появилась с незаращенным баталловым протоком¹. Но сначала консилиум врачей поставил маме ультиматум: «Ребенок мертв. Надо делать кесарево сечение и вынимать его частями. Иначе матери грозит заражение крови». «Это прекрасно», — ответила мама, — я жажду смерти» — и, дав врачам расписку в том, что от кесарева сечения она откажется, и расплачившись с докторами, мама уехала в полтавский дворец. Всем известно, что ребенок в утробе матери плавает в особом пузыре; а так называемые воды прошли у мамы в день паралича, так что ребенок должен был задохнуться. Мой отец умер 22 декабря 1903 года, а я родилась в начале апреля 1904-го. Оказывается, я была защищена двумя пузырями, и первый, лопнувший, был надет на мне. Иначе говоря, я родилась в рубашке. Паралич у матери был нервный (однажды он вернулся в революцию, когда мы сидели в женской Новинской тюрьме).

Вся моя жизнь прошла в том, что я только и делала что удивлялась странностям нашей советской печати. В 1955 году издана огромная толстая книга в 349 страниц — «Архитектура подмосковных усадеб» Н. Я. Тихомирова. Снимки, план и фото нашего петровского дворца. Вся его история — сплошная выдумка. По этому труду, дворец соз-

¹ Врожденный порок сердца.

дал Баженов и на куполе дворца стояла (из чугуна) статуя Екатерины. Кончается словами: «Но дворец кажется слишком большим и ненужным князьям Мещерским, последним его владельцам, невероятно запускается ими и доводится чуть ли не до разрушения».

На самом же деле в 30-х годах (когда взрывали храм Христа Спасителя) под наш дворец пять раз закладывали динамит, чтобы, добыв кирпич, свозить его в деревню Бурцево, где было намечено строить парники для огурцов и помидоров. Но... «фокус не удался», потому что кладка кирпича была на желтках, как соборы в Кремле.

В книге «Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры», изданной в 1955 году четырьмя мудрецами: академиком С. Веселовским, кандидатом архитектуры В. Снепиревым и профессором Н. Коробковым, — на странице 273 снимки нашего дворца, построенного... Казаковым, который на купол дворца поставил... Аполлона (!!). Повесть о нашем дворце оканчивается печально: «Упадок усадьбы начался еще в 50-е годы XIX века», потому что князья Мещерские «не сумели должным образом оценить художественное значение своего владения»...

На куполе никто никогда не стоял! Возмущенная этими вымыслами, я пишу в «Крокодил», предлагаю напечатать карикатуру: на куполе дворца дерется (за свое место) греческий бог с паридой (в кринолине), замахнувшейся на него скипетром. Предлагаю назвать карикатуру «Кто кого?» и пишу в журнал, что укажу на два противоречащих друг другу труда. Получаю из «Крокодила» поздравление к Новому году и благодарность за внимание к этому журналу.¹ (Все документы имею налицо.)

Всю свою жизнь я читала невероятные истории, напечатанные в наших газетах о моей матери и обо мне

Вот как на самом деле повернулась наша жизнь. 1917 год. Падение самодержавия. Предчувствуя отделение Украины, моя мать через нашего знакомого князя Львова² обращается к Временному правительству с просьбой дать возможность вывезти в Москву бесценное полотно Боттичелли и хотя бы несколько самых ценных картин. Ни о каких большевиках аристократия еще понятия не имела. Керенский дает целый товарный вагон, и наш управляющий в особых раздвижных рамах привозит в Москву «Мадонну» и еще 16 самых ценных картин (см. мою статью в «Литературной России» от 4 июня 1965 года). По имеющимся у меня фото. нашей квартиры № 5 на Поварской, все ее стены были украшены фарфором, саксом и картинами. Наши многолетние друзья Прянишниковы согласились развесить все привезенные шедевры в особняке, в своей гостиной (Старокожуховский переулок, дом 36). Все привезенные 16 картин были увезены ЧК и до сего дня пропали неизвестно куда. В начале июня 1918 года, когда еще не сравнялось и года советской власти, моя мать передала Боттичелли Ф. Э. Дзержинскому, а с 1960 года репортеры, зарабатывая на моей жизни и на моем паспорте свои авторские гонорары, выдумывали что только приходило им в голову и писали:

газета «Труд», 9 декабря 1960 года: «Давно миновали годы военного коммунизма. Мещерскую мучили угрызения совести. Она с дочерью ходила на советскую службу, а Боттичелли-то все еще был спрятан в тайнике»;

«Известия» — «Декрет о Мадонне», 18 февраля 1963 года: только одна ошибка — моя мать никогда не была сиротой и «воспитанницей» князя А. В. Мещерского. У нее были отец, мать, две сестры и три брата, то есть семья, в которой она жила;

«Вечерняя Москва», 7 апреля 1965 года: «Мещерской предложили передать музеям ценные картины», находящиеся в подвалах и на чердаках нашего дома. Когда княгиню спросили, где Боттичелли, она объяснила, что «несколько лет назад картина где-то затерялась». Жаргон статьи был площадной, например: «на смерть перепуганная княгиня...»;

газета «Ленинское знамя», 8 апреля 1965 года: снова «чердаки и подвалы», откуда мы выволакивали спрятанные шедевры;

газета «Крымская правда», 11 апреля 1965 года («Флорентийская Мадонна») — теперь выдумана новая версия, вклеенная в прежние события: уже не Ленин, а Дзержинский указал Ленину, что такая картина существует, и, добыв ее, Дзержинский звонит Ленину по телефону и говорит: «Владимир Ильич, «Мадонна» доставлена в целости. Она передо мной, на моем письменном столе (!!). Если хотите, могу прислать ее вам». А Ленин отвечает: «Спасибо, Феликс Эдмундович, специально присы-

¹ Он был родственник князя Львова, члена Временного правительства.

ать не следует. Но при случае я непременно взгляну на нее...» — и т. д. Вранье и вранье...

газета «Вечерний Киев» на украинском языке — «Флорентийска Мадонна», 8 квітня 1966 року. То же вранье в изложении Штепселя и Тарапуньки.

К 50-летию органов ВЧК — КГБ по этому случаю был состряпан следующий рассказ о том, как была спасена картина Боттичелли). Имя моей матери совершенно не упоминается, и всюду фигурирую я, тринадцатилетняя девочка: «Княжне Мецкерской предложили передать музеям находящиеся в подвалах и на чердаках ее дома картины и другие произведения искусства. Она отдала знаменитые работы Тициана и Мурильо, Ван Дейка и Брюллова и т. д.» («Московский художник», 1968 год).

Потом в «Советской культуре» 29 июня 1973 года Е. Кончин писал «биографию» экспоната: «А картину спрятали в московской княжеской квартире» (?).

Какую же точность вы хотите от наших энциклопедий? Никогда мой отец не мог бы назвать себя «другом Лермонтова». Он относился к нему как к гению — колено-преклоненно; это было бы дешевым амикошонством. Да Михаил Юрьевич по своей замкнутости и недоверию к людям близких друзей и не имел (по письмам наших родственников — семьи Карамзиных).

В своей жизни я 13 раз сидела в тюрьме и у нас было 23 обыска. Можно было вообще все перезабывать, а по моим годам и просто впасть в старческий маразм. Так что почему нет точной даты смерти отца, я сама не знаю и, по правде сказать, этим до сих пор не интересовалась.

Дочерью моего отца меня признал А. А. Игнатьев, написав на своем фото, мне подаренном: «Моей молодой тетушке» — и т. д. Княжна Вета (Елизавета Мецкерская) — моя племянница, которая в возрасте девяти лет шести лет живет в США, в штате Иллинойс, — в своем письме пишет мне: «Ты у нас осталась старшая в роду» (то есть в России).

Между прочим, когда Леша (А. А. Игнатьев) умер, право на его похороны оспаривали писатели и Советская Армия. Помирились на том, что гроб с его телом стоял на улице Воровского в Доме писателей, где проходила гражданская панихида, а на Новодевичьем кладбище был у разрытой могилы сооружен помост, покрытый ковром, и на нем поочередно выступали большие чины Советской Армии. Вокруг была выстроена военная часть, за ней оркестр. А через десять лет все об Игнатьеве забыли, и литераторы и военные. С огромным трудом я хлопотала о вечере его памяти. Мне давали только Малый зал на сто человек. Тогда я сама отпечатала 60 конвертов (на билеты) тем его знакомым, которых знала. «А где же поместятся военные и международники?» — спросила я, и тогда мне дали Большой зал. Я просила (ныне уже покойного) В. Г. Лидина быть председателем. Просила И. С. Козловского петь. Словом, весь вечер был устроен мной, и среди воспоминаний об Игнатьеве чтец Яков Смоленский должен был прочесть мои воспоминания «Мой племянник А. А. Игнатьев». Вечер прошел блестяще, но из газеты «Вечерняя Москва» мы узнали, что весь вечер устроила Волкова, то есть ЦГАЛИ. Причем газета перечисляла все номера, мои же воспоминания, так же как и их чтец Яков Смоленский, совсем не упоминались. Когда присутствовавшие на вечере с возмущением написали письмо в «Вечернюю Москву» и спросили, что это значит, пришел казенный ответ: «Простите, это ошибка, и сотрудник газеты, виновный в этой ошибке, больше у нас не работает»...

Все, что я здесь пишу, пишу с полной ответственностью и ни от одного слова не отступаю.

К сожалению, я не могу, подобно многим другим, припомнить точно тот миг своего детства, когда вдруг впервые осознаешь себя существующей. Обрывки моих воспоминаний как-то не связаны между собой, но я знаю, что самое раннее детство я провела во дворце в нашем имении Веселом Полтавской губернии Хорольского уезда. Это было любимое имение нашей матери, потому что там прожила она первые годы своего счастливого замужества.

От просторных помещений дворца, в котором было сорок пять комнат, я сохранила в памяти блестящую гладь узорно выложенного натертого паркета, потоки яркого света, льющиеся из многочисленных окон, и где-то вдали, за распахнутыми настежь рамами, раскинувшуюся синь озера. В его беспокойных, сверкающих на солнце волнах то взлетают, то пропадают, точно ныряя, острые белокрылые паруса яликов.

Из первых ощущений ясно помню приятное прикосновение мягкого бархата к моему подбородку и к моим локтям. То был красный бархат длинных скамеек, тянувшихся вдоль стен бального зала. Мне хочется пересчитать их все моим подбородком, но я слышу строгий окрик. Кто-то тянет меня за руку, отвлекая от такого занятия. Поскольку я могла класть локти и подбородок на сиденье скамьи, едва его доставая, думаю, что в ту пору я была еще очень мала.

Потом та же рука то волокла меня, пряча от няни Пашеньки или от нашей гувернантки, в шкафную за ряды душевых платьев, то ставила меня за высокие столды скатанных в рулоны ковров, хранившихся в буфетной, то под переходы круглых дворцовых лестниц, а иногда даже запикивала меня в одну из больших собачьих конур, где было жарко, пахло разогретой звериной шерстью, а большой, голубоглазый, пушистый волкодав гостеприимно лизал меня прямо в нос своим влажным розовым языком; уцепившись за его белую с рыжими пятнами шерсть, притаившись, я замирала за его широкой спиной.

Эта властная рука повелителя моей детской судьбы принадлежала моему старшему и единственному брату Вячеславу. Требуя от меня безоговорочного подчинения, он учил меня всевозможным проказам, учил обманывать взрослых и затем молчать «на смерть» при их допросах.

Огромный парк, оранжереи с редкими видами растений, цветов и плодов, зимний сад под крышей дворца да и сам дворец предоставляли нам, неутомимым проказникам, широкое поле деятельности. Но все наше детское любопытство было сосредоточено на башне дворца. Из-за ее высоты нам, детям, было запрещено входить в нее и подниматься без сопровождения взрослых. Ах эта башня! Она влекла нас, как неизведанная тайна, она казалась нам украшением всего дворца. Высокая, в четыре этажа с небольшим пятим, где была оборудована маленькая обсерватория, помпозно длинной передвижной подзорной трубы она была уставлена какими-то непонятными для нас, детей, приборами и стеклами.

В готическом стиле, с четырьмя башенками, украшавшими ее по бокам, башня устремляла вверх свою остроконечную крышу. Ее увенчивал шпиль с железным, вращающимся по ветру флажком. Башня стояла, словно гордый страж с гербом Мещерских на груди.

Но разве можно было запретить что-либо Вячеславу?! Кроме кованой двери из передней дворца, которая бывала обычно на запоре, в башню существовал еще и потайной ход. Небольшой подземный переход прямо из оранжереи выводил к маленькой, незаметной дверце в густых зарослях выходящего хмеля. С помощью сына нашего кузнеца подростка Осипа Вячеслав уже давно подобрал к этой дверце второй ключ, дав Осипу в уплату свой большой перочинный нож. Никто этого не заметил, потому что никому и в голову не приходило пользоваться потайным ходом, неизвестно зачем прорытым князьями Кочубеями, прежними владельцами дворца. Заветный ключ Вячеслав из осторожности никогда с собой не носил и прятал его в одной из ваз, украшавших террасы. Очень, очень редко, только в отсутствие старших, а главное в отсутствие своего гувернера-француза Дюдана, проникал он в башню, и, конечно, еще реже он брал с собой меня. В башне был зал для фехтования — с рапирами и эспадронами, с решетчатыми масками и толстыми кожаными нагрудниками. Была там и гимнастическая комната с трапециями, лесенками, деревянной кобылой для прыжков и вращающимся чучелом для бокса. На другом этаже была бильярдная. Комната с камином, круглая рыцарская комната, украшенная фигурами рыцарей в доспехах, развешанное по стенам оружие, старинные седла, чучела каких-то животных и птиц и многое другое, чего не удержала моя детская память.

Брат всегда сожалел, что после него родился не мальчик, а я. Но раз так случилось, он считал своей обязанностью заниматься моим воспитанием. Иногда оно было очень жестоким. Но он любил меня по-своему, и я старалась быть такой, какой он хотел меня видеть. Он навеки искоренил во мне трусость и беспомощность, столь свойственные девочкам. Вот как преподавал он мне свой первый урок.

Тот памятный июльский день был душен. С самого раннего утра все взрослые, включая наших немку и француженку, выехали в экипажах и верхом к нашим соседям по имени графам Милорадовичам. Меня из-за малого возраста не взяли, а Вячеслав оставили дома в наказание за какие-то очередные проказы. Я была отдана на попечение няни Пашеньки, а Вячеслав остался под наблюдением своего гувернера. Он

должен был перевести с русского языка на французский целую главу из «Робинзона Крузо».

Солнце в тот день палило нещадно, дышать было невозможно — парило. Все предвещало грозу. Шелковые гардины были опущены, отчего в комнатах воздух казался золотистым. Дворец опустел, и в парке было безлюдно. От нестерпимой жары и непривычной тишины становилось скучно. На озере вместо обычных волн мерцала какая-то рябь, делающая его поверхность похожей на старое мутное зеркало. Ялики стояли у причала со спущенными парусами.

До завтрака я играла в тени перед террасой в куклы, а няня Пашенька, расположившаяся около меня с рукоделием, утомленная жарой, впадала в дрему. Вячеслава не было: он послушно сидел над переводом в классной комнате под наблюдением француза. Потом на террасу подали завтрак: яйца всмятку, творог со сметаной и варенец из сливок прямо со льда.

После завтрака всегда бывал час полуденного отдыха. Няня Пашенька уложила меня в детской, а сама пошла спать в свою комнату. Я проснулась оттого, что меня тихо дергал за плечо брат. Он сделал мне знак молчать, помог одеться и застегнула пуговицы моего платья на спине. «Где же Дюдан?» — спросила я шепотом.

Брат не ответил на мой вопрос и, как всегда, потянул меня за руку.

— Они забыли впопыхах запереть дверь в башню, — скорее прошепел, нежели прошептал он. — Гроза собирается. Мы проникнем в обсерваторию и будем смотреть на разряды молний в подзорную трубу. — От страха и оттого, что мы бежали по коридорам, то и дело прысая от слуг за углом или за дверью, дыхание у меня прерывалось. — Не дыши, как паровоз, — снова прошепел Вячеслав.

А я действительно сопела, готовая расплакаться. Мне было очень страшно. Я боялась увидеть грозу. Я никогда еще не видела ее, так как все предыдущие грозы моей детской жизни няня Пашенька тщательно от меня скрывала. Так уж было почему-то заведено. Она уводила меня в нашу уютную детскую, закрывала тяжелые дубовые ставни, и от теплящейся перед киотом лампы детская погружалась в приятный полумрак. Няня торопливо зажигала перед образами пасхальную, от святой заутрени, свечу и истово шептала молитву. Потом она садилась в кресло и прятала мою голову у себя на коленях, при ударах грома закрывая своей теплой ладонью мое ухо. Было уютно и совсем не страшно, хотя я и знала, что за окном бушует ветер и льются потоки дождя. Платье няни пахло корицей, кардамоном, мускатным орехом, и я знала, что вот сейчас она вытащит из своего кармана домашний пряник и даст мне. Даст потихоньку от гувернантки и взрослых, так как это ей запрещалось. От такой маленькой тайны мне становилось радостно, а от уютного света лампы, отражавшегося в стекле киота, охватывала приятная дрема...

А сейчас? Что за ужас ожидал меня? Но Вячеслав тащил меня неумолимо, тащил вперед и вперед...

Как оказалось впоследствии, гувернер-француз вместо полуденного отдыха в тот день сказал, что идет купаться. Это была его обычная уловка, он пользовался любым предлогом, чтобы уйти к флителям, где помещались слуги. Там стоял отдельный домик, так называемая девичья, и француз, плененный красотой украинских девушек и их пением, простаивал часами под их окнами. Не один раз он бывал с головы до ног облит из этих окон холодной водой. И теперь он снова ускользнул туда же...

Пока мы с братом добирались до заветной двери, в комнатах потемнело так, словно наступил вечер. Небо затянулось тучами, неизвестно откуда налетел порывистый ветер. Когда мы поднимались по лестнице, я решилась спросить брата:

— А если они вернутся? Тогда что?

— Убежим через потайной ход, — ответил Вячеслав, — ключ со мной, скажем, что была в саду.

— А если... — Я хотела спросить, кто же поверит, что в грозу, под дождем мы очутились в парке, но брат насмешливо оборвал меня:

— Если, если... Ты что, трусишь?

Карабкаясь вслед за ним по ступенькам, я стала утешать себя, что гроза, может быть, нас и не убьет и что Вячеслав, как обычно, поднимет меня на руки и посадит на зеленое сукно бильярдного поля. Я буду катать бильярдные шары, стараясь загнать их в подвешенные по углам стола сетки, а Вячеслав будет примерять рыцарские доспехи или крутиться на трапеции в гимнастическом зале — так мы обычно про-

водили время, когда удавалось проникнуть в башню. Но не тут-то было! Поднимаясь все выше и выше по лестницам, я видела уже тревожный полет стрижей и ласточек, рассекавших воздух. Раскаты грома приближались. Зловещие молнии освещали розовато-сиреневыми бликами стены башни. Когда мы остановились на одной из площадок, я увидела в окно, как густые ветви деревьев мотаются из стороны в сторону, словно мохнатые руки великанов, взывая о помощи. Даже тополя, гордые и прямые, раскачивались, не то укоряя кого-то, не то угрожая...

Я обезумела от страха: в северных вспышках молний мне показалось, будто шевелится и оживает фигура рыцаря. Очередной раскат грома оглушил меня. Дождь хлестал, подбрасываемый порывами ветра: со всех сторон точно выливались ушаты воды... Перед дверью, ведущей на пятый этаж, новый удар грома заставил меня присесть. Я вцепилась в руку брата и во все горло завизжала: «Не пойду дальше! Вернемся! Я боюсь!» Брат попробовал тащить меня силой; сопротивляясь, я укусила его за руку и, продолжая орать, затопала ногами.

В одно мгновение Вячеслав подбежал к окну и с силой распахнул его, потом, словно рысь, прыгнул ко мне, схватил под мышки и вместе со мной быстро вскарабкался на подоконник. Не в силах вырваться из его стальных рук, я продолжала орать. Он встал во весь рост на подоконник и сделал легкое движение, точно хотел выбросить меня в окно. Я повисла над бездной на его сильных руках.

Надо мной в небе рвались клочья черно-сизых туч. Дождь заливал мне лицо, хлестал в уши, в глаза, стальные тиски, сжимавшие меня под мышками, причиняли невыносимую боль... Захлебнувшись от воды, я смолкла, в глазах у меня потемнело...

Я очнулась сидящей на полу перед все еще открытым окном. Склонившись ко мне, брат вытирал своим носовым платком мое лицо и мокрые волосы. Он улыбался и время от времени высасывал кровь на своей руке — след моего укуса.

— Ну что? Скиковала? Ну отвечай: будешь еще трусить и бояться грозы? — Он потрепал меня по щекам.

Я не могла произнести ни слова. Мокрое, прилипшее к телу платье не давало мне пошевелиться. Кругом все дрожало и гремело по-прежнему, то и дело вспыхивали молнии, но мне было уже совершенно не страшно. Я наблюдала, как около меня на паркете увеличивалась лужа из струек, стекавших с меня.

Вячеслав, словно щенка, приподнял меня за шиворот с пола, но видя, что я плохо держусь на ногах, быстро посадил меня к себе на спину.

— Держись крепче за шею, — сказал он.

Я обняла обеими руками его шею и прижалась к его щеке. Он стал медленно спускаться по лестнице.

— Сейчас няня Пашенька тебя переоденет, разбудим ее. Хотя она наверняка уже бегает, всюду ищет нас. Скажешь ей, что мы с тобой вышли на террасу и что ты сама захотела постоять под дождем. Поняла? Она все равно нас не выдаст. А ты, если хочешь, чтобы я тебя любил и считал своей сестрой, будь смелой. Запомни: постыднее трусости порока нет. Жаль, что мы не дошли до обсерватории, но ничего... зато сегодня было твоё первое испытание на храбрость.

И я никогда больше не боялась грозы.

Когда через несколько лет мы получили из-за рубежа первое письмо Вячеслава, у моей матери не дрогнула рука навеки отказаться от родного сына, и она написала ему несколько страшных, исчерпывающих слов: «Ты забыл о любви к родине — ты оставил родную землю, так забудь же и о том, что на ней ты оставил мать и сестру...»

Компромиссы любого рода были чужды моей матери.

Революция... Меньше всего к ней была подготовлена аристократия. В большинстве своем она не интересовалась и не занималась политикой. Конечно, знали о том, что существуют революционеры, которые время от времени бросают в кого-то бомбы. Существовало мнение, что «готовится конституция, при которой власть царя будет ограничена парламентом», — и это было все. Именно потому для таких людей «революция грянула»... Они почувствовали себя застигнутыми неожиданной бурей; казалось, гроза разразилась над их головой в чистом поле, и теперь, под проливным дождем, оглушенные раскатами грома, они разбегались в разные стороны кто куда, ища убежища и спасения от смертельных, сжигающих молний.

— Никуда я не уеду,— решила наша мать,— не буду я, как бедная приживалка, сидеть там, у порога иностранных посольств, прося помощи и защиты от моей собственной родины...

Не было семьи, которую бы не расколола революция. Порывались многолетние, самые, казалось бы, верные и крепкие узы дружбы, рассыпалось кровное родство. Такая драма коснулась и нашей семьи: гордость матери, мой единственный старший брат, ее любимец, первенец, оставил родную землю.

Конечно, нам было нелегко; нелегко мне даже и сейчас писать о нашей жизни; когда человек пишет о том, что его волнует, он должен быть беспристрастен, должен быть предельно точен, чтобы не стусить краски и не исказить истину. Нам было тяжелее остальных потому, что, кроме нашего богатства и дворянства, над нами несмываемо реяла княжеская корона Мещерских семисотлетней давности. И все недоверие, вся злоба, которую заслужил наш класс у народа, лежали черным пятном. Этого пятна не побоялась моя бесстрашная мать.

Ведь многие из аристократов замкнулись в себе, озлобились, отгородились от всего и от всех. Они продавали на черном рынке из-под полы свои драгоценности, не думая, на сколько этого хватит... И несколькими годами позже, продав последнее, неряшливые, грязные, опустившиеся, они стояли в Столешниковом переулке и на прекрасном французском просили милостыню. Это зрелище было постыдным и отвратительным.

Так обнажалось человеческое нутро.

Когда окружавшие нас так называемые свои с возмущением нападали на мою мать, упрекая ее в готовности принять все новое и в желании во что бы то ни стало шагать в ногу с «этими», моя мать отвечала:

— Я не умею еще понять новой жизни и новой власти, но этого хотел народ, это его воля. Вот то, во что я верю.

А народ тех дней был какой-то особенный, и его горячая душа окрашивала первые годы революции удивительной романтикой. Дни мчались, и сколько красочных картин, никем не запечатленных, промелькнуло и ушло в забвение!

Когда было объявлено о национализации банков, вскрытие сейфов представляло большую трудность для тех неопытных людей, в чье ведение эти богатства попали. По этому случаю было опубликовано обращение ко всем гражданам, имевшим свои сейфы в банках. Владельцев просили явиться, имея на руках ключ от сейфа. Говорилось также и о том, что какую-то часть из «носильной мелочи» (с цветными камнями) будут выдавать владельцам на руки. В те дни нужна была валюта, ценилось только золото, а драгоценные камни ничего не стоили.

Что за волнение поднялось! Возникла масса толков, кривотолков, и родилась масса самых страшных опасений.

— Ишь ты! Нашли дураков! Чтобы я сам, своими руками им свое добро отдал!— говорили одни.

— Знаем мы, чем это пахнет,— подмигивали другие.— Пойдешь, ключик принесешь да там и останешься!

— Это очередная большевистская удочка! Вот это что! — шептали третьи.

И большинство людей в банк не пошли и ключей от своих сейфов не отдали.

— Пусть ломают, проклятые! Пусть весь банк исковеркают! — злорадовались они.

Моя мать была из тех немногих, кто подчинился и пошел. Мне кажется, присущее ей чувство порядочности побудило ее поступить так. К сожалению, в тот день она не взяла меня с собой и я не могу рассказать точно, как все это происходило, поэтому не буду измышлять, а передам только то, что неоднократно рассказывала людям моя мать.

Уже на улице здание банка было оцеплено солдатами. Пропускали только при предъявлении документов и при наличии ключей от сейфа. По всем этажам стояла вооруженная охрана, и на каждом этаже банка работала своя оперативная группа.

Национализацию золота в отделении, где находился наш сейф, возглавлял человек, одетый в форму матроса, прибывший, как говорили, из Петрограда. Никаких специалистов или ювелиров при этой операции почему-то не присутствовало. Грудь матроса украшала надетая наискось пулеметная лента, сбоку — кобура, из которой торчала потемневшая рукоятка револьвера. Молодой, широкоплечий, большеглазый, от сознания, что на него возложено серьезное и ответственное дело, он старался хму-

рить свое открытое, доброе лицо. О ценностях он имел смутное понятие, знал главное: государству нужно золото. Между сейфами на широких столах стояли весы всех размеров. Из открытого матерью сейфа матрос прежде всего стал захватывать пригоршней и складывать на весы все изделия из золота: мужские и дамские часы, цепи к ним, портсигары, медальоны на цепочках, медали. Матрос был, очевидно, осведомлен о том, что шифры придворных фрейлин были бриллиантовыми, а потому на другие чашки весов попали шифры всех фрейлин, которые были в нашем роду. Потом на третьи весы были брошены все нательные кресты, все цепочки к ним и все обручальные кольца. Затем уже последовали именные золотые чашечки, чарки и бокалы. Помощник матроса, пожилой, худой, часто кашлявший человек в штатском, но при оружии, находился при этой операции, наверно, по случаю своей грамотности, был весь поглощен гирями, весами, время от времени он записывал в большую канцелярскую книгу баснословно растущие цифры, тщательно подкладывая под свои вычисления копирку. Золото как таковое совершенно не привлекало его внимания. Что касается матроса, то он с чувством глубокого удовлетворения посмотрел на внушительные горки, которые образовались из взвешенных им вещей. Затем сгреб в кучу все оставшиеся драгоценности, осыпанные камнями, и сдвинул на край стола перед онемевшей от изумления матерью.

— Давай забирай эту мелочь... — Он сделал нетерпеливый жест, чтобы она поскорее очистила стол, и протянул ей бумагу для подписи.

Как жаль, что я, в те годы глупый еще подросток, никогда не интересовалась этой бумагой и потому не сохранила ее! Много лет спустя я поняла всю ценность этого интереснейшего исторического документа... Помню только, что он содержал в себе цифру реквизированного у нас золота, а ниже стояла пометка, гласившая, что «мелочь с осыпью камней — носильные безделушки, — как не представляющие валютной ценности, отданы на руки гражданке Е. П. Мещерской».

Особое раздражение вызвало у матроса ожерелье «Отелло». То была тонкая золотая сетка, на которой рубины скреплялись между собой маленькими жемчужинами. Все ожерелье было создано для миниатюры редчайшей красоты, изображающей Отелло, величиной не более пятнадцатикопеечной монеты. Внизу ее украшала височная удлинненная, слезой, жемчужина.

Внимательно рассмотрев Отелло, матрос со злобой изрек: «Вот до чего барыни были бесстыжие! Негра на шею вешали!!!» — и, искренне сплюнув, швырнул ожерелье в кучу остальной «носильной мелочи». В числе этой «мелочи» мы получили наш фамильный мещерский бриллиант (греческий, голубой воды) в двадцать каратов. В форме ромба в платиновой оправе, осыпанной бриллиантами, он висел на тончайшей платиновой цепочке.

С этим мещерским бриллиантом была связана следующая история. В Большом театре идет «Жизнь за царя», поет Ф. И. Шаляпин. В царской ложе присутствует сама вдовствующая императрица (мать Николая II) Мария Федоровна. В ложе бенуара № 13 (всегда нами абонируемой) сидят мои родители. В тот вечер моя мать не надела никаких драгоценностей кроме одного этого бриллианта на шее. В первый же антракт в ложу к родителям вошла ближайшая из фрейлин Марии Федоровны. Очень мягко, вполголоса она просила мою мать о любезности: снять с шеи бриллиант. В тот вечер, одеваясь в театр, императрица не надела бриллианта подобной величины. Послушная этикету, мать отстегнула цепочку и опустила мещерскую фамильную реликвию в сумочку. Родители тут же были вынуждены встать, покинуть ложу и уехать домой. Другой придворный этикет диктовал: декольтированная дама не могла появиться на вечере с обнаженной шеей без драгоценностей. Это считалось дурным тоном. Позднее этот бриллиант был у нас выкраден.

Подписав бумагу, протянутую матросом, моя мать все еще стояла в изумлении и смотрела на отданную ей грудку драгоценностей. Она растерялась, к тому же ей некуда было их положить. Матрос, видимо, понял ее замешательство: он подвинул ей стоявший около нашего сейфа пустой цинковый сундучок, из которого только что были вынуты шифры фрейлин. Этот сундучок размером не более ручного чемоданчика имел три отделения и был очень вместителен.

— А ну сыпь сюда, — добродушно сказал матрос. — А бумагу вместе с документами предъявишь при выходе.

В те дни, получив этот сундучок, полный драгоценностей, мы даже не представляли себе его настоящей стоимости. Потеряв свои три имени, два дворца, пере-

дав «Мадонну» Боттичелли (полуторамиллионной ценности) Феликсу Эдмундовичу Азербайджанскому³, мы, казалось, освободились от всего, что имели. Тем более что эти материальные потери ничего не стоили против того одиночества, которое мы испытывали, лишившись всех родных как со стороны отца, так и со стороны матери. Вскоре мы были лишены и нашей квартиры на Поварской улице (сейчас улица Воровского) в доме моей крестной Александры Александровны Милорадович. Затем ввиду нашего княжества нам стала запрещена и прописка в Москве. Все наши родные, которые уцелели, а также и наши друзья, бежавшие за кордон, бежали не только для того, чтобы спасти свою жизнь. Большинство из них теперь двигались обратно, вступив в иностранные войска. Они шли на свою родину с оружием в руках. Отряды оккупантов распухали от подобных «добровольцев», и среди иностранного говора часто звучала изысканная петербургская речь...

Как же могли относиться большевики к бывшей княгине и бывшей княжне?.. И мы ходили, бездомные, ища ночлега у знакомых. Многие из них, помнившие и на себе испытывавшие доброту моей матери, пускали нас под свою крышу. Но постепенно таких мест становилось все меньше и меньше, а лица наших друзей делались день ото дня мрачнее. Никто не хотел рисковать, каждый боялся за себя.

— Соседи все замечают...— говорили одни.

— Нам ведь не места жаль,— рассуждали другие,— ночуйте хоть каждый день. Но всем известна русская пословица: скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты...

— Мы любим вас, верим вам,— чуть ли не со слезами в голосе заверяли третьи,— но ведь вы — князья!!! Вам бежать отсюда надо без оглядки, бежать, пока еще не поздно... И нас-то из-за вас арестуют, а ведь у нас дети...

И так, ища ночлега, идя от одной двери к другой, мы снова оставались на улице со своим сундучком. Мы продолжали наш путь по знакомым, родным улицам Москвы. Когда нам всюду было отказано, мы стали скитаться по вокзалам. Наши драгоценности никому не были нужны: голод и сыпняк свирепствовали на русской земле. За пшено и за картошку отдавали рояль. За подушки, за одеяла и за простыни можно было обменять у мешочников, курсировавших на поездах взад и вперед, каравай душистого украинского черного хлеба, но у нас ничего из этих вещей не было... Был только небольшой сундучок с никому не нужными «побрякушками»...

— Мама,— спрашивала я,— почему вы не хотите написать о нашем положении Феликсу Эдмундовичу? Ведь он же обещал помочь нам.

— Потому что у него есть дела поважнее, нежели устройство нашей с тобой жизни,— строго ответила мне мать.— К нему обращусь только в самую страшную минуту, в крайнем случае. А с жизненными трудностями надо самим справляться.— И она объяснила мне новое наше положение примерно так: колесо истории повернулось, мы оказались под ним и будем неминуемо раздавлены, если не найдем своего места в новой жизни, а найти его мы можем только трудом.

Советская литература (и, в частности, автор «Кремлевских курантов») показала нам саботаж московской интеллигенции тех дней, которая не желала идти «работать на большевиков». А ведь работы было — непочатый край, и в особенности ощущался недостаток в людях с образованием. Но напрасно моя мать ходила на биржу труда, напрасно уверяла, что может принести пользу, так как знает французский, немецкий, итальянский, говорила, что имеет законченное образование певицы, что дебютировала в Милане, в «Ла Скала»...

— Князьям у нас работы нет,— отвечали ей,— и на учет биржи труда мы княгиню не поставим...

С продолжением моего образования было тоже покончено раз и навсегда. Я училась в Москве, в дворянском институте у Красных ворот. Это было здание дворца, которое Александр III отдал под дворянский институт и основал его в память Екатерины II. Сейчас это здание одето серым камнем. В первые годы после революции в нем помещался НКПС.

Нашей начальницей была Ольга Анатольевна Талызина, а попечителем Александр Дмитриевич Самарин — предводитель московского дворянства. Наш институт назывался также и патриотическим, потому что только мы одни носили форму цветов национального русского флага: белые кофточки, красные кушаки и васильковые юбки.

Падение самодержавия и отречение Николая II от престола прозвучало в стенах

³ Подробнее см. «Огонек», 1987, № 43.

нашего института очень своеобразно. Всех институток собрали в большом, парадном зале, на стенах которого висели в тяжелых золотых рамах царские портреты. К нам вышла Ольга Анатольевна, вслед за ней все наши классные дамы, и, наконец, шествие завершил наш попечитель А. Д. Самарин, несший в руках какую-то бумагу. Взволнованным старческим голосом, останавливаясь на каждой фразе и борясь с подступающими слезами, он прочел отречение Николая II от престола. И оттого, что строгая, чванливая Ольга Анатольевна плакала и наши грозные и придирчивые классные дамы прижимали к глазам кружевные платочки, всем нам было очень интересно, весело и радостно.

Еще веселее стало нам, когда институт оказался покинутым всем обслуживающим персоналом и когда нас, институток, послали на кухню помогать варить обед. Мы с восторгом обедали сырой морковью и сырой капустой, которую нам велели резать. Мы были счастливы, что уроки идут кое-как, что все взрослые перепуганы и что все непоколебимое, установленное и неопровержимое летит кувырком... Потом в здание нашего института пришли толпы матросов Балтфлота и масса вооруженных людей...

Так с нашим образованием было покончено.

Более дальновидные родители, в особенности те дворяне, которые носили простые русские фамилии, скрыв дворянство, отдали своих дочерей в новые, только что открывшиеся советские школы. Очень небольшую часть девочек, в число которых попала и я, педагоги согласились обучать бесплатно, и тогда московский богач Базилевский отдал под нашу так называемую гимназию общества преподавателей свой чудный особняк в Гранатном переулке (сейчас Дом архитектора).

Но вскоре не стало ни Базилевского, ни учителей, а особняк был национализирован. Меня же, бывшую княжну, с моей фамилией ни в одну советскую школу не принимали. Такова была наша с матерью судьба осенью 1918 года, когда моя мать с присущим ей спокойствием, терпением и твердостью снова (уже в который раз!) отправилась на биржу труда.

— А можете ли вы зачислить меня на биржу труда как чернорабочую?

Ей ответили, что это возможно, и в один из дождливых холодных вечеров моя мать пришла ко мне на Курский вокзал (где в ту ночь мы собирались ночевать), пришла оживленная, с блестящими от радости глазами, с румянцем на щеках.

— Я получила работу! — объявила она мне. — Буду кухаркой на Рублевском водопроводе. Завтра едем. Грузовик в Рублево отправляется каждый день в восемь часов утра с Театральной площади.

— А где же мы будем жить?

— Как где? Там, где все рабочие живут, — не задумываясь ответила мать. — Живут же они где-нибудь...

Это сообщение наполнило меня радостью. Неужели кончатся наши скитания? Как надоели эти ночевки где и как попало...

Стояла поздняя осень. Намокнув за день под моросящим дождем, наша одежда просушивалась на нас самих и только ночью. Спали мы не раздеваясь, сидя рядом на какой-нибудь вокзальной лавке, тесно прижавшись друг к другу. И вдруг такое счастье! Оказаться под крышей, иметь свой угол, куда можно прийти, закрыть за собой дверь и знать, что тебя уже никто не прогонит...

Мы покидали Москву. День был холодным, низко над городом нависли свинцовые тучи. Дождь моросил безостановочно. Я старалась казаться спокойной, но в сердце моем, словно этот дождь, лились невидимые слезы. Я любила Москву, и если при первом известии о том, что моя мать получила работу и какой-то кров над головой, я обрадовалась, то теперь, покидая Москву, я думала, что расстаюсь с ней навсегда. Сознание, что в родном, любимом мною городе ни матери, ни мне не нашлось места, удручало меня. Эта незаслуженная обида стояла в горле комок еле сдерживаемых слез.

С матерью я не смела поделиться. Не смела даже выразить ей своего мнения. Это было следствием аристократического воспитания: с рождения оторванная от матери, вскормленная кормилицей, а затем отданная на попечение чужим людям, я с детства была одинока. Один день у нас начинался с французенкой, другой — с немкой. Когда исполнилось шесть лет, посадили за рояль, в семь — балетмейстер и первые уроки на нашем просторном, светлом манеже в детском седле на небольшом по-

ни. Уроки давал на ломаном, русском языке англичанин-берейтор. Потом закрытый институт. Нашу красивую строгую мать мы видели редко. Отсюда и обращение к ней на «вы» — почтительное и холодное.

Разговаривалась со мной мать по-настоящему только в 1917 году. Все, что мы с ней пережили, сблизило нас, но все же... между мной, неуравновешенным, порывистым подростком, и этой спокойной, уверенной в своей правде твердой женщиной лежала еще глубокая пропасть. Ни строгое воспитание, ни железная дисциплина не могли изменить моей сущности: я была рождена самолюбивым и беспокойным бунтарем, а поэтому вопросы «почему? зачем? по какому праву?» так и бурлили во мне, в особенности после пережитой моей первой трагедии.

Было у меня в жизни самое дорогое — музыка. Я сравнительно легко смирилась с тем, что меня не приняли ни в одну из открывшихся советских школ. Но когда на моем заявлении, поданном в консерваторию, я увидела сделанную наверху вкось размашистым почерком жесткую резолюцию: «По своему происхождению не имеет права на высшее образование. Отказать», — это ныло во мне, как больной зуб...

Перед моими глазами стояло милое, доброе лицо профессора Константина Николаевича Игумнова, которого я незадолго до того встретила на улице. С шести лет я была ученицей его друга — профессора Василия Николаевича Аргаманова. На музыкальных детских вечерах четыре раза в год Константин Николаевич проверял занятия учениц, и я имела от Игумнова личную награду — «12 месяцев» Чайковского в тисненном золотом переплете. На первой странице этой толстой тетради рукой Константина Николаевича было написано: «За отличные успехи по музыке Китти Мещерской». Его незабываемое длинное худое лицо, похожее на лицо мудрого египтянина, нарисованного на древнем папирусе, просияло улыбкой, и он взглянул на меня с высоты своего гигантского роста, как на знакомую маленькую букашку.

— Китти! — воскликнул он. — Тотчас же подавайте заявление в консерваторию. Я приму вас. Устрою в общежитие, может быть, если будете идти первой, выхлопочу вам стипендию. Будете пианисткой. Ведь я, между прочим, назначен директором консерватории. — «Между прочим» было в стиле этого скромного, доброго, светлого человека и замечательного пианиста...

Лишившись последнего крова, мы оказались на улице, не зная, куда идти, мать держала в одной руке небольшой узел с несколькими носильными вещами, в другой — цинковый сундучок с драгоценностями, а я обеими руками прижимала к груди толстые папки маминых и моих нот... Это был мой мир, эти маленькие черненькие кружочки нот, напечатанные на пяти линейках. Я могла, смотря на них, слышать музыку, и это было мое царство. Его нельзя было у меня ни реквизировать, ни национализировать.

Обо всем этом я не смела сказать матери, так как она, по-видимому, была совсем другого мнения и, увидя в моих объятиях толстые папки нот, сказала осуждающе и холодно:

— Зачем это? У тебя всегда в голове все шиворот-навыворот. Всегда дикие фантазии. В нашей новой жизни это не нужно.

— Но я не перестану любить музыку, — ответила я твердо.

Мать промолчала, а я, видя спокойную решимость на ее лице, терзалась сотней вопросов: мама — кухарка? как же это будет выглядеть со стороны? а что же будет со мной? останусь недоучкой? чем же я буду в жизни? как буду зарабатывать на хлеб? тоже буду кухаркой? Но ведь я ненавижу кастрюли!!! Что случилось с нами и как все это могло случиться? Может быть, все это только мне снится?..

В то дождливое утро мы были единственными пассажирами рублевского грузовика, и когда он, черный, мокрый, неуклюжий, появился вдруг из-за поворота и выехал на площадь, я посмотрела на него со страхом и неприязнью.

— Значит, в поварахи к нам? — весело спросил мою мать шофер, рыжий мальчик, и легко бросил в грузовик наш узелок с вещами.

Мать с сундучком в руках села в кабину, я, прижав к груди папку с нотами, встала на черную надутую шину огромного колеса, и шофер ласковым шлепком помог мне перепрыгнуть через высокий борт, велел сесть спиной к кабине: ее высота должна была в дороге защищать меня от ветра. Он закрыл меня большим широким брезентом, который был весь промаслен и сильно пах бензином. Но я чувствовала

себя под ним очень уютно и, повернувшись вбок, могла сквозь стекло кабины видеть лицо моей матери.

Шофер долго мучился, стоя перед грузовиком и заводя его, как мне тогда показалось, каким-то гигантским штопором. Мотор никак не хотел работать. Потом он вдруг оглушительно затарахтел. Некоторое время, стоя на месте и невероятно трясясь, грузовик продолжал еще упрямиться, выпускал клубы серого дыма, громко и оглушительно стрелял и наконец тронулся в путь. Он уносил нас в новую, совершенно нам неведомую, полную какой-то страшной тайны жизнь...

Натянув на голову брезент, я все время поворачивалась и смотрела на мать. Косынка, которую она повязала на голову, скрыла все богатство ее пышных, уложенных узлом каштановых волос, и теперь мне был виден только профиль матери, странно чужой в этой впервые надетой ею косынке. Я так любила этот безукоризненный профиль камеи. Она сохранила его до старости, даже лежа в гробу.

Я была с детства влюблена в красоту моей матери. Я гордилась ею. Мне вспоминалась мать, какой она бывала, когда ехала в театр или на концерт: в вечернем платье, с жемчужной матовостью обнаженных, чуть покатых плеч. На белой, тонкой коже вокруг шеи переливалось, играя разноцветными огнями, ожерелье.

Я вспоминала мать, затянутую в черный шелк амазонки, со стеклом, в дамском седле, на ее любимом Ладном — вороном жеребце арабских кровей. Она любила показать высший класс верховой езды и с необыкновенной легкостью брала препятствия и барьеры...

Среди так называемой золотой молодежи Петербурга выделялся в те годы знатностью рода и непревзойденной красотой офицер лейб-гвардии гусарского его величества полка князь Николай Барклай де Толли. Он был прямым потомком героя 1812 года. Его успеху в свете завидовали многие товарищи, а все девушки и женщины, за малым исключением, были к нему неравнодушны.

Меня он страшно интересовал: я никак не могла понять, почему все от него без ума. Я все время наблюдала за ним, незаметно для него следовала за ним по пятам и совсем не находила его красивым, какие-то писанные, сладкие черты лица. Я старалась вслушиваться в то, о чем он говорил, и снова и снова испытывала недоумение и досаду. В его речах не было блеска, не было ни порыва, ни вдохновенности, даже природный юмор и тот отсутствовал. Банальные любезности и вежливые, штампованные фразы — все было скучно и бесцветно.

Сама не знаю почему, он меня раздражал. Мне казался неестественным его вкрадчивый, мягкий голос. Его нежный, словно девичий, вишенкой, рот. Белые холеные пальцы, когда он, окруженный старыми дамами, раскладывал головоломный пасьянс, всегда искрились огнем перстней. «Почему он какой-то ненастоящий?» — спрашивала я себя. Хотелось его как следует подковырнуть, чтобы все ненастоящее с него слезло, и тогда посмотреть: какой он на самом деле?..

Надо было ждать удобного случая. И вот однажды в час раздумий у меня родилось стихотворение. Конечно, оно относилось все к тому же «петербургскому льву». Стихи получились не первосортные, и я это отлично сознавала, но безумное желание досадить красавцу князю было сильнее меня. И вот наступил большой долгожданный вечер с ужином и танцами. Меня, как маленькую, из этого веселья исключили, я должна была в девять часов вечера выпить свое молоко с кусочком черного хлеба, а затем ложиться спать. Каково было мне все это пережить?

В зале уже давно танцевали. Девушки, взволнованные и радостные, выбегали из зала к зеркалу, чтобы поправить растрепавшиеся волосы. Дамы, разгоряченные танцами и флиртом, проходили из зала на балкон. Все томно обмахивались веерами, и со всех концов только и слышались восторженные гимны на французском языке, воспевавшие красоту и неотразимость Барклая де Толли, и среди фамилий снова и снова имя того же князя... Нет! Это уж слишком! Они положительно все сошли с ума. Вот он этот долгожданный миг! Лучшего не придумаешь. Я должна именно сегодня во что бы то ни стало преподнести ему свои стихи.

Прежде всего я старательно переписала свое произведение. Свернув стихи в маленький билетик и спрятав его в руке, выскользнула из детской. Затем вслед за лакеем вошла в столовую, где накрывали стол для ужина. Лакеи сновали взад и вперед, меня во всеобщей суете никто не заметил.

По всей середине стола на белой скатерти тянулись длинные хрустальные вазы с сырым песком. В них стояли только что срезанные левкои, резеда, розы всех сортов. Перебегая от стула к стулу, прочитывая карточки с золотым обрезом, на которых написаны имена и фамилии гостей, жадно пишу глазами. Наконец-то! Вот он, его прибор, его место. На карте золотыми витиеватыми буквами его имя, отчество, фамилия, увенчанные княжеской короной.

Отойдя в сторону, я выждала, когда ни одного лакея в столовой не оказалось, и быстрым движением всунула билетик со стихами в середину белой накрахмаленной салфетки, стоящей петушком. Затем так же быстро выбежала из столовой и, постояв в углу коридора с минуту, чтобы отдышаться, степенной, спокойной походкой вошла в детскую. К великому изумлению няни Пашеньки, я молча залпом выпила свое молоко и, послушно раздевшись, юркнула в постель под одеяло.

Но разве до сна мне было? Я лежала тихо, закрыв глаза, старалась ровно дышать, чтобы няня Пашенька подумала, что я заснула. Так я представлялась для того, чтобы Пашенька поскорее ушла. Вскоре я услышала шелест ее платья и легкий скрип закрывшейся двери.

Сердце мое громко стучало, и с каждым ударом в голове выстукивались строчки моих стихов:

Вы красивы — я не спору,
Всем соперникам — гроза;
Принесли немало горя
Ваши черные глаза.
Вы красивей всех на свете,
Кивер набекрень надев,
И попало в ваши сети
Много жен, невест и дев.
Все удивлены ужасно:
Что за дьявольский успех?
Чем? Осанкой ли прекрасной
Побеждаете вы всех?
И глядят, развесив уши...
А под маской красоты
Скрыты: глупость, равнодушие
И так много пустоты!

Я ворочалась с боку на бок. Представляла себе плавно движущийся крут танцующих, и сердце мое сжималось завистью. Счастливые! Танцуют! Они большие — им все можно! Я ожидала первого перерыва в танцах. Тогда все пойдут ужинать в столовую, и, может быть, я услышу взрывы смеха, когда князь найдет мои стихи и начнет в гневе их читать. А может быть, он так рассердится, что никому их не покажет?.. Но сон подкрался ко мне, и незаметно для себя я уснула.

Проснувшись я оттого, что перед моей постелью стоял Вячеслав и безбожно тряс меня за рукав ночной рубашки. Лицо у него было бледное и очень злое.

— Дрянная девчонка! — шипел он. — Сейчас же одевайся, и идем!

— Что случилось? Где мама? — сразу не поняв, в чем дело, спросила я.

— Мама... мама... — передразнил меня брат, дрожа от ярости. — Натворила бед, а сама в кусты? Дрянь! Исподтишка! Я тебя проучу. Из-за твоих идиотских стихов князь со светлейшим Горчаковым хотят на дуэли драться! — И брат стал швырять мне в лицо мое белье, чулки и платье. — Живо! Одевайся! И — марш за мной!

Услышав слово «дуэль», спросонья начав дрожать от страха, я мигом оделась.

— Где же мама? — снова пролепетала я.

— Она за картами, наверху, и никакая мама тебя не спасет! Тебя будет судить гусарский суд чести, он уже собрался, а потом я сам тебя выпорю! Иди же, мерзкая девчонка!

Он почти волоком потащил меня по коридору, стучая об углы стен мою несчастную голову, и наконец здоровым пинком втолкнул меня в офицерскую комнату.

Ах... В эту минуту ни боли вспухавших на моей голове шишек, ни обиды на грубость Вячеслава, ни страха — ничего я не чувствовала. Все было забыто, я не верила своему счастью. Подумать только, ведь я находилась в офицерской комнате, куда девушкам вход был запрещен, куда входили и где проводили время только военные. А я ведь так мечтала обрить голову, надеть мундир, пойти в денщики к Вячеславу, когда он будет офицером! И вот сейчас я здесь наравне с военными! Вот оно — счастье!..

Я с любопытством оглянулась и тут же закашлялась. Комната плавала в густых об-

лаках сиреневого дыма. Потом я стала постепенно различать ковры, оружие по стенам, круглый стол, на нем пещельницы с окурками. Вдали ломберный стол, на нем разбросанные колоды карт. На серебряных подносах много пустых и полных бутылок вина среди бокалов и рюмок. В углу на угасающих углях камина офицеры на скрепленных саблях варили жженку. В центре сабель стояла голова сахара, на нее медленно с двух сторон капали из разных бутылок ром. В большой серебряный ковш, стоявший внизу на углях, стекала вместе с растопленным сахаром душистая влага. Пахло горячим пуншем и еще каким-то пряным ароматом.

Некоторые офицеры сидели, развываясь, в креслах, другие стояли, разговаривая, но все взгляды были направлены в тот миг на дверь, в которую мы с братом вошли.

И сразу настала мертвая тишина.

— Сознавайся сейчас же, что эти стихи написала ты, — повелительно сказал брат, подталкивая меня потихоньку в спину кулаком.

— Да... Эти стихи написала я, — еле выговорила я.

Снова наступила тишина. Я заметила, что на всех лицах появилась плохо скрываемая улыбка. Я опустила глаза и увидела: один мой чулок, сморщившись штопором, спускался с ноги. Платье я впопыхах надела наизнанку, и все швы торчали наружу.

От группы офицеров отделился князь. Он подошел ко мне. Да... теперь я увидела, что я надела и как я его «подковырнула». Он стал совсем некрасивый: весь красный, потный. Нервным движением он беспрестанно вытирал лоб носовым платком.

Вдали возле камина, насупившись, стоял высокий бледный Горчаков и тоже смотрел на меня с удивлением.

— Вы?! Вы? — повторил князь изумленно, подходя ко мне все ближе, будто впервые меня увидел. — Вы? Но зачем?!

— Просто так...

Выражение его лица смягчилось и потеряло напряженность. Он взял меня за руку.

— Ну-с, маленькая княжна-поэтесса, тогда скажите, за что же вы меня так ненавидите?

— Я не ненавижу.

— Ну, просто не любите. Объясните, чем я вас прогневал?

— Ничем. Это шутка. Мне захотелось написать эпиграмму, как во времена Пушкина.

— Для эпиграммы немного длинновато. Но за что же, милая поэтесса, — продолжал он, не выпуская моей руки, — за что же вы невзлюбили все-таки меня?

— За что? — вдруг осмелев, переспросила я. — Извольте, скажу: за то, что в вас все влюблены, вот за что!

— Кто же, например?

— Ну, первая княжна Биби, конечно... да вы и сами знаете всех прекрасно, зачем притворяетесь?

Тут все офицеры стали громко смеяться. Молчал и оставался серьезным только Горчаков; вдруг он приблизился ко мне и к князю.

— Дитя, — сказал он, строго на меня глядя, — вы даже не подозреваете, насколько для меня важны ваши слова. Вопрос идет о чести мундира... Понимаете?! Прошу вас дать сейчас, здесь, при всех честное слово, что никто из взрослых, понимаете, никто, а главное, из присутствующих здесь офицеров не помогал вам писать эти стихи. Может быть, кто-нибудь натащил ваши мысли на эту шутку?

— Даю честное слово, что никто. Я написала их ото всех потихоньку и никому не показывала.

— Что же, выходит, вы написали их экспромтом?

— Нет... я написала их давно.

— Где же вы их хранили до сегодняшнего бала?

— В моей кукольной комнате, на полу под ковром...

На этот раз со всеми засмеялся и Горчаков. Князь поцеловал мою руку и, улыбаясь, сказал:

— Если бы вы были офицером, я вызвал бы вас на дуэль.

— Когда мне исполнится шестнадцать лет, Вячеслав научит меня стрелять...

— Нет, нет! — прервал меня князь. — Я не буду ждать ваших шестнадцати лет, княжна, я накажу вас сейчас же и при всех, да еще как! Я вас поцелую!

И он хотел привлечь меня к себе, я рассердилась, стала упираться ему в грудь руками и как только возможно отстраняться от него, но моих силенок не хватило, и он все-

таким поцеловал меня в щеку. От обиды я собралась было заплакать, но тут все офицеры стали подходить и целовать меня, а потом все по очереди стали катать меня на себе. Тут я очень развеселилась. Потом на меня надели гусарский кивер и дали выпить горячего пунша. Офицеры встали вокруг меня.

— За нашу поэтессу, ура! — кричали они хором.

Потом кто-то поднял меня и поставил на самую середину стола. Все наполнили чарки и, стоя вокруг стола, запели хором гусарскую песню:

Где друзья минувших лет, где гусары удалые?
Председатели бесед, собутыльники лихие!

Я с упоением пела вместе с ними, и, прежде чем чокаться, каждый из них просил меня пригубить его чарку. Вот когда я почувствовала себя гусаром!.. Потом меня в торжественном шествии унесла обратно в наши комнаты. Опыленная жженкой и своим успехом, я, счастливая, заснула.

Утром все офицеры хранили гробовое молчание, и никто из старших ничего не узнал. Я была горда. Некоторое время я даже смотрела на Вячеслава немного свысока, а он, улыбаясь, повторял:

— Ну и рыжая Рагу! (Так он называл меня.) Ведь твое стихоплетство могло окончиться трагически. Все указывало на то, что эти стихи написал Горчаков, хорошо, что я, взглянув на билетик, сразу узнал твой почерк, а то было бы дело... Но, в общем, ты — пуля!

И это было его первой похвалой.

Потом перед моими глазами встал наш большой, сияющий огнями зал. В полукруге мягких кресел сидят приехавшие из Петербурга гости. Среди них великий князь Михаил Александрович, крестный отец моего брата Вячеслава. Всегда сопутствующий ему адъютант Джонстон, как всегда встав сбоку у рояля, перелистывает страницы нот. Я на коленях у моей обожаемой крестной матери Александры Александровны Милорадович. Она, как обычно, во всем сиреновом и в своих любимых аметистах. Ее некрасивое, но необыкновенно светлое, подвижное и умное лицо от волнения чуть побледнело. Глаза устремлены на нашу мать.

Теплый летний вечер. Высокие окна дворца распахнуты в парк. Ветерок колеблет пламя зажженных свечей, играет в подвесках хрустала; он приприсит из парка нежный запах резеды, белых звезд табака и сладостный аромат левкоя. Полуконцертный рояль «Бехштейн» раскрыт. За ним худощавая, чуть угловатая фигура Игумнова. Точно высокий черный парус, вскинуто вверх крыло рояля. И в самой его середине, в выемке, стоит наша мать. Она поет, ее голос льется, и мое детское сердце наполняется радостью и волнением. Я боюсь передохнуть. Я почти не дышу от восторга. Она поет, чуть-чуть опустив ресницы на свои искристые глаза. На губах не видится, а скорее угадывается полуулыбка...

Я очнулась... В ушах треск и грохот: грузовик уже миновал окраины Москвы. Подпрыгнув на нескольких ухабах и поворотах, он выехал на широкое шоссе и понесся что есть духу. Ветер с яростью рвал с моей головы брезент, холодный дождь хлестал в лицо. Свист ветра и грохот грузовика — все сливалось в невыразимый шум. Одной рукой натягивая на голову брезент, я другой прижимала к себе папку с нотами, чтобы она не намочилась, чтобы не погибли мои любимые, заветные страницы. Время от времени, высунувшись из-под брезента, я старалась удержать наш узел с вещами — от быстрой езды и тряски он, подпрыгивая, скатывался в угол грузовика, где образовалась лужа.

«Как выглядит этот водопровод?» — спрашивала я у самой себя, и мне мерещилось что-то вроде большой водяной мельницы. Это «что-то» стояло на самой середине Москвы-реки и, шипя и пытая, вращало гигантскими колесами, сосало воду, которая по трубам текла прямо в Москву. А где же все-таки мы будем жить? — мучил меня вопрос. И тогда мне чудилась пустая, сырая комната, в которой пахнет баней, а по стенам тянутся водопроводные трубы, длинные-предлинные... Мысли мои становились все более нелепыми, фантастические картины все более невероятными, и вскоре я впала в забытие. Холодный ветер сковал меня, я больше не могла удерживать подпрыгивавший узел...

Меня разбудил сильный толчок. Грузовик остановился. Конец нашего пути. Мы приехали в Рублево. Если, собираясь в путь, я легко взобралась на грузовик, то теперь еле-еле выпрямилась. От сырости и оттого, что все на мне промокло до нитки, все

члены окоченели и теперь ныли. Меня бил озноб, зуб на зуб не попадал. Рыжий быстро встал на шину колеса, подхватил меня под мышки и, словно прозябшего мокрого котенка, осторожно поставил на землю. Я не успела сказать спасибо, как он также быстро достал наш узелок, не обращая на меня внимания, поднял капот грузовика и принался в нем копать.

Мать сказала, чтобы я никуда не отходила, а сама отправилась в дирекцию водопроводной станции, чтобы, как говорят, «явиться по начальству». Дрожа от озноба, я силилась пошире открыть слипавшиеся глаза, с трудом удерживая папки. Проходившие мимо рублевцы не обращали на меня внимания, за что я была им благодарна: с тревогой в душе я так и ждала взглядов — недружелюбных, подозрительных, насмешливых, которыми нас награждали знавшие, кто мы такие, какое позорное слово «бывшие»...

А шофер возился в моторе, надув щеки, что-то продувал, что-то протирал, схватив грязную, черную от масла тряпку, и при этом, несмотря, казалось бы, на полную погруженность в работу, кивал то в одну, то в другую сторону и знакомил меня с Рублевым. Я увидела вдали, около Москвы-реки, главное здание — сердце водопроводной станции. Оно походило на большую, невысокую, далеко вытянувшуюся фабрику с превысокими трубами. Ее мерный шум походил на дыхание сказочного великана, на его непрерывные вздохи. Как ни странно, шум этот мне сразу понравился. Шофер указал на двухэтажное здание — театр и клуб Рублевского водопровода. Симметрично расположенные дома из веселого красного кирпича, в которых жили рабочие водопровода, назывались почему-то казармами, хотя это военное строгое слово не соответствовало их внешнему виду. Вообще Рублево походило на маленький, очень чистенький городок. Позже я узнала, что старые, так называемые кадровые рабочие-рублевцы жили в отдельных домишках из серого бетона, окруженных садиками; многие из рабочих имели корову. Рублево украшали аккуратно проложенные аллеи с густыми подстриженными деревьями. Чем я больше проникалась мыслью, что здесь будет наша новая жизнь, тем все вокруг становилось мне милее. Казалось, мы попали в приветливый и добрый городок, хотя где-то в самой глубине души уже шевелилась знакомая тревога: «А вот как узнают, кто мы, так и возненавидят». Но я старалась гнать от себя это все отравлявшее опасение.

Вернулась мать, ее сопровождал высокий, крепкий человек, комендант общежития. Он позвал нас в одну из казарм и, когда мы поднялись на второй этаж, распахнул перед нами дверь небольшой, светлой, с одним окном комнаты. Пахло сухим теплым воздухом и запахом крашеного пола. Во всем здании было паровое отопление. В комнате был водопроводный кран, а под ним белела чистая фаянсовая раковина. У стены стояли две железные кровати. Сквозь сетку просвечивал блестящий, чисто вымытый пол.

— Вон там, — показал в окно комендант, — прямо против нас, видите, красное здание? Там круглосуточно кипит большой куб. Можете сейчас же взять чайник и послать дочку за кипятком. Попьете чайку, согреетесь с дороги... Ежели будут вопросы, обращайтесь прямо ко мне, — закончил он радушно и с этими словами вышел, а я, развязав узел и достав из него большой чайник, побежала в здание, которое указал комендант.

Небольшая, быстро двигавшаяся за кипятком очередь встретила меня довольно приветливо:

— Это дочка нашей новой работницы...

— Из Москвы они...

— Да, кажись, в поварахи к нам ее мать определилась.

Так со всех сторон я слышала беззлобные реплики.

Зато чайник наш не только привлек к себе всеобщее внимание, но и вызвал явное неодобрение. Мы захватили его впопыхах, когда нас выселяли, потому что другого у нас не было под руками. Когда-то он возглавлял тот серебряный сервиз Мещерских, который, по семейным традициям, подавали только один-единственный раз: молодоженам в первое утро после свадьбы. Причудливый, в стиле рококо, в изысканных завитках, с выпуклыми фантастическими растениями и цветами, с медальоном, по которому летели два беспечных амура, чайник таил в себе какую-то помпезность, праздничность и будил воспоминания об ушедшей роскоши, о «ничегонеделанье»...

— И где только такой чайник купили?

— Ишь, искусственный какой...

— Это кому делать неча... его и в час не вычистишь... право слово...

Я наливала кипятком и, следя за горячей льющейся струей, заливалась краской стыда и считала секунды. Как бы осудили меня эти люди за чайник, если бы узнали, что его и кипятить-то нельзя, потому что он из чистого серебра...

Возвращаясь в казарму медленными шагами, думала о том, что нам с матерью предстоит трудные дни. А мы сами? Ведь и в нас, в живых людях, много, наверное, всяких вычурных завитков и ненужных навыков. Если мы не переделаем себя, то будем смешны, а что именно надо сделать, чтобы не остаться чужими для этих людей, этого я не знала. Не знала, наверно, потому, что не понимала разницы между ними и собой. Потому что хотела узнать их ближе, хотела подружиться с ними...

Войдя в комнату, я постаралась сделать самое веселое, беззаботное лицо.

— Первое время мы, наверное, будем путать и наш дом и нашу комнату, — улыбаясь, объявила я. — Сейчас мне все дома кажется совершенно одинаковыми.

— Наш дом? Нашу комнату? — медленно, точно стараясь вникнуть в смысл этих слов, повторила мать, и голос ее странно пресекался. Она подошла и крепко обняла меня. От неожиданности ее прикосновения вся моя сдержанность исчезла. Слезы брызнули из глаз.

— Что будет с нами дальше? — спрашивала я с отчаянием. — Я боюсь этих людей, боюсь этой жизни... я ничего не понимаю... что надо делать?

— Надо только одно, — сказала мать, — надо верить в то, что нам поверят. Только этой надеждой мы можем жить.

Я подняла голову, поцеловала ее руку, вытиравшую мои слезы, и посмотрела матери в глаза. Глаза были совершенно сухими, но я в первый раз за все время заметила, как постарело ее нежное и милое лицо.

Я не могу припомнить, по какой причине Рублево, этот для того времени благоустроенный, приятный городок, имевший школы первой и второй ступени, клуб, свою баню, свой театр, к моменту нашего приезда не имел помещения для столовой. То ли оно было занято чем-либо важным, то ли оно строилось, но столовая Рублева в те дни, когда моя мать приступила к своей работе, была не чем иным, как длинным-предлинным бараком из наспех сколоченных досок. Стоял этот барак вдали от всех зданий, на самом ветру, среди чистого поля. Пахло в нем свежим, мокрым деревом, а его фанерная дверь от внутренних испарений набухала и плотно не закрывалась.

Кухня тонула во влажном дыме. Сквозь него чернели выпуклые бока огромных темных котлов, в которых варилась пища... Если бы не стук ножей и звон посуды, не переключки кухонного персонала, то человеческие головы среди клубов белоснежного плотного пара напоминали бы головы ангелов, плывущих в плотных крутых облаках. Правда, выражения лиц этих «ангелов» не были ни задумчивыми, ни безмятежными. Лица были красные, потные, а иногда слишком веселые от отпущенной кем-нибудь непристойной шутки.

Я была поражена картиной, которая представилась моим глазам в то утро, когда я с любопытством просунула голову в полуоткрытую дверь кухни, желая взглянуть на мать. Там среди непрерывного шума, напоминавшего гул в бане, в сырости, в парах, в невыносимом чаду и ужасающей жаре около котлов началась моя мать свою трудовую жизнь.

Заметив меня, мать выскочила мне навстречу, схватила за руку и вытолкнула назад на улицу.

— Никогда! Слышишь? Никогда не смей сюда показываться! — с непонятным для меня раздражением прошептала она над самым моим ухом. — Твой приход поймут неправильно: нальют тебе по-своейски тарелку супа, сунут в руку кусочек хлеба. Подумают: девочка пришла, дочь кухарки, надо ее накормить. А страна голодает, взять крошку — это преступление...

— Но, мама... — перебила я и оскорбленно начала отвечать ей по-французски, но тут лицо моей матери исказилось таким страхом и ужасом, что я умолкла.

— Невыносимая девочка, — зашептала она, — забудь французский и забудь навсегда немецкий, слышишь? Навсегда! Дай бог, чтобы мы с тобой смогли на своем родном русском объяснить ту правду, ради которой мы здесь остались. И уходи сейчас же! Сиди дома. Вечером я принесу тебе твой, мой ужин.

Я быстро побежала прочь от столовой. Лицо горело от стыда, но самое ужасное было то, что я ничего не понимала. В чем мы виноваты? Кого мы обидели? Почему нельзя говорить ни по-французски, ни по-немецки?..

Только что мы провели первую ночь в Рублеве. Она была похожа на пытку. Так как все наше платье и белье промокло, мы развесили их на веревке, которой несколько раз были перевязаны нотные папки. Мы протянули веревку через всю комнату, гвозди с большим трудом достали из стен, заколачивать их пришлось камнем,

принесенным со двора; и мать и я сильно отбили себе пальцы. Лечь спать было не на чем: ни тюфяков, ни одеял, не говоря уж о подушках или постельном белье. Ложиться прямо на железные прутья кровати было невозможно. Тогда мы решили лечь на полу. Но надо было что-нибудь подложить себе под голову. А что?.. Мы вспомнили о досках, которые лежали сложенными около нашей казармы, они бросились нам в глаза, когда мы впервые с комендантом проходили по двору в свое новое жилище. Мы надели пальто и вышли. Доски оказались мокрыми от дождя. С трудом мы стали снимать их одну за другой и, добравшись до середины, выбрали несколько чуть влажных, даже почти сухих. Остальные доски аккуратно в прежнем порядке сложили обратно. Потом мы вернулись в казарму, легли с матерью прямо на голый пол, а под голову вместо подушек — три положенных одна на другую доски.

Эту ночь я провела почти без сна и только под утро забылась тяжелой дремотой. Очевидно, когда я металась полусонная, неосторожно и порывисто повернувшись, успела занозить себе ухо: оно распухло и покраснело. Спасли мамини карманные маникюрные ножницы, с которыми она никогда не расставалась. Мать ловко вынула занозу. Я горько плакала, даже не потому, что мне было больно; плакала от нашей нищеты, причина и смысла которой были мне непонятны, плакала потому, что наше будущее представлялось мне безнадежным.

— Я не знала, что у меня дочь такая плакса, — почти равнодушно сказала мать (всякое сюсюканье было чуждо нашей семье). — Откуда такое малодушие?.. Чтобы я больше никогда не видела ни одной твоей слезы...

Но я знала, я чувствовала сердцем, что и матери моей было несладко.

Потянулись тягостные дни: я была в полном подчинении у своей матери и не смела ни в чем ее послушаться, а она строго-настрого запретила мне выходить из казармы и с кем-либо разговаривать. Почему? Спросить я не смела, ее авторитет был незыблем и непогрешим.

Утром я убирала комнату и затем была обречена сидеть в ней целый день как затворница. Это были дни вынужденного тяжкого безделья. Тогда я раскрывала наши папки с нотами. Перелистывала страницы. В ушах звучали мелодии одна за другой. Вот последнее, что я играла перед Игумновым: соната для фортепьяно, или просто соната Грига. Пометки, сделанные карандашом Константина Николаевича, он проставлял мне удобную перемену пальцев в пассажах левой руки... Нет! Это было выше моих сил. Казалось, я брожу памятью по цветущим аллеям потерянного рая. Я захлопывала свои ноты и раскрывала мамини. Но это оказывалось еще мучительнее: в ушах звучал ее голос. Ее любимые арии и романсы. Здесь тоже в некоторых местах пометки, сделанные ею для меня карандашом. Они мелькают кое-где и на трудных технических местах аккомпанемента романсов Рахманинова, состоят всего из одного слова: «Вы учить!» Это означало, что я в таких местах ошибалась. Я давно уже выучила и знала почти наизусть, а вот ее размашистый, рассерженный почерк остался... И мы тоже зачем-то остались жить... Зачем?!

Вечером приходила мать, чтобы принести мне свой ужин: кусок воблы и две ложки холодной чечевицы без масла в жестяной кружке. Это было мое единственное питание — один раз в день. Этого, конечно, было слишком мало, но самое главное — в этом было что-то постыдное и унижительное. Рожденная в роскоши, слыша с детства со всех сторон разговоры о нашем богатстве, привыкшая к большому штату слуг, вежливых и предупредительных, не знаю почему, я не впитала в себя идей, приписываемых нашему привилегированному сословию, и ни у меня, ни у брата, ни у моих сверстников не было в крови той иждивенческой психологии, которую я впоследствии встречала и сейчас иной раз встречаю у нашей молодежи.

И когда в первый же вечер, придя с работы, моя мать принесла мне свой ужин, мне показалось, что я получила звонкую пощечину. Но я ела этот мамин ужин. Ела давясь, презирая себя. Ела потому, что мне все время хотелось есть.

А через две недели моя мать пришла какая-то особенно возбужденная: она рассказала мне, что в ее работе произошла перемена, понадобилась заведующая столовой, и, узнав, что она грамотная, эту должность дали ей. На ее же место, поварихи, взяли дородную, высокую, черноволосую и широкоплечую женщину по имени Пелагея. Мне она своей величественной осанкой очень напоминала царевну Софию, сестру Петра Первого.

Пригодилась не только мамина грамотность, очень понадобились неожиданно проявившиеся у нее способности администратора. Но все осталось по-прежнему. Ее

главным рабочим местом осталась столовая. Она не могла покинуть котлов, не могла не участвовать в приготовлении завтраков, обедов и ужинов, необходимых для рабочих ночной смены. Теперь я почти не видела матери. Вся ее жизнь сосредоточилась в том, чтобы улучшить обеды и разнообразить меню. Мне начинало уже казаться, что это было единственным ее призванием.

Я вспомнила о событии, которое произошло в нашем любимом подмосковном Петровском. Трудно себе представить место более красивое и чудесное. Архитектор Тихомиров назвал его уникальным памятником ансамбля усадебной архитектуры, поместив пять фотографий, в том числе и внутренний план петровского дворца.

Вся усадьба располагалась на возвышенности, отчего парк в двадцать семь десяти-тин был всегда пронизан солнцем. Парк был разделен большой, главной аллеей, украшенной, как и в полтавском имении, статуями, вывезенными Мещерскими из Флоренции и Рима. В конце главной аллеи на пригорке стояла огромной величины статуя Аполлона; его стройный торс из черновато-зеленой меди очень красиво оттеняли белоснежные лилии, окружавшие клумбой пьедестал греческого бога.

Правая часть была строгим французским парком с прямыми перекрещивающимися аллеями из столетних разросшихся лип, цветение которых наполняло все вокруг медовым благоуханием. Левая часть парка (так называемая дикая) изобилвала таинственными тропинками, затерянными аллеями с уютными скамьями. Все там напоминало настоящий лес: был там и овраг с зарослями сладкой лесной малины, на склоне оврага бил чистый ключ. Где-то повыше в густом ельнике сохранилось несколько барсучьих нор.

У пригорка, где стоял Аполлон, у его ног красиво извивалась речка — приток Десны. Вдоль ее берегов склонялись серебристые ивы, в береговых кустарниках всю ночь напролет заливались соловьи, а дальше, за поворотом реки, пряталась в деревьях купальня.

Петровское было таким солнечным и прекрасным, что каждый день, прожитый в нем, был радостью.

Недаром Петровское названо уникальным: в центре его стоял редкой красоты дворец, сложенный из белого камня. Он был украшен шестнадцатью большими колоннами и — на своих четырех портиках — восемью малыми. Летом и зимой ослепительно сиял его купол, покрытый белой медью. К главному входу подводили с двух сторон широкие веерообразные лестницы. Их, точно стражи, охраняли фигуры сфинксов и разъяренных львов с поднятой лапой.

Дворец был предназначен для балов и больших приемов. На первом этаже — балльный зал, наверху его в виде длинной ложи балкон для оркестра. Внизу вокруг балльного зала в комнатах помещались музей и архив Мещерских. Нас, детей, больше всего в музее занимали два экспоната: клык мамонта, найденный когда-то на том месте, где впоследствии построили дворец, и под высоким хрустальным колпаком на подушке из темно-малинового бархата скульптура из бронзы — ножка цыганки-плясуньи Насти. В Настю без памяти влюбился, выкупил из табора и с ней обвенчался брат нашего отца — Иван Васильевич Мещерский. Он был вынужден покинуть лейб-гвардии конный полк, в котором служил.

В музее сохранялось также оружие, жалованное Мещерским за боевые подвиги, и многие ордена. Архив Мещерских был ценным не только из-за множества древних бумаг, свитков и грамот далеких времен, но и интереснейшей перепиской со всей семьей Карамзиных — наших близких родственников. Дядя отца, Петр Васильевич Мещерский, был женат на дочери историка Карамзина. Это была та Екатерина Николаевна Мещерская, которой Пушкин посвятил свое стихотворение «Акафист». Она была его большим другом и впоследствии описала похороны поэта. Были в архиве и несколько писем Лермонтова моему отцу, а также листок с написанным рукой поэта стихотворением «Скажи мне, ветка Палестины...». Сбоку на листке, как это любил делать Лермонтов, — нарисованная им ветвь, похожая на пальмовую. Чернила этого листка выцвели, порыжели...

Синие майоликовые печи, увенчанные такими же синими майоликовыми вазами, украшали комнаты петровского дворца. Одна из печей была такой величины, что в ней свободно могла поместиться танцующая пара. Вдоль всей печи тянулся длинный толстый вертел. На нем когда-то жарились подвешенные вниз головой туши диких ка-

банов и лосей. Отдушина печи сохраняла еще следы копоти тех дней, когда звуки рога созывали всех на царскую охоту.

На втором этаже дворца в его двусветном зале располагался зрительный зал с просторной сценой.

В то лето, которое я вспоминаю, у нас побывала масса гостей: во дворце пел знаменитый тенор Леонид Витальевич Собинов, кончавший когда-то вместе с матерью Московскую филармонию, играл Константин Николаевич Игумнов, заезжала к нам, будучи на гастролях в Москве, Заньковецкая, друг матери, сыгравшая нам несколько сцен из «Наймички».

И все до последнего человека находились под обаянием нашего волшебника повара-кондитера, выпisanного из Петербурга, где он служил при царской кухне у государя и был выгнан за пьянство, а кое-кто утверждал, что и за буйный нрав. У нас он занялся своим искусством с большим трудолюбием и вел себя образцово.

Каждый день все с нетерпением ожидали обеда, а садясь за стол, с любопытством ожидали сладкого блюда. И оно появлялось. То это был пломбир, окутанный паутиной золотых волос Венеры из жженого сахара; волосы были заколоты гребнем невиданной красоты, тоже из темно-золотистого леденца, и украшен он был драгоценными камнями из разноцветных цукатов и фруктов. Или на подносе вдруг вносили пудинг, пылающий синим огнем винных настоек. А один раз лакей внес большую вазу из разноцветного леденца; внутри на волнах шоколадного крема плавали из песочного теста гондолы с шоколадными неграми. Одним словом, повар всех покорила, а меня, маленькую сладкоежку, поразил в самое сердце.

День и ночь я ломала голову, что бы такое сделать для повара; первой моей мыслью было разбить детскую копилку, высыпать все содержимое и через кого-нибудь из слуг передать ему мои сбережения. Но... с детства я была отчаянным романтиком и идеалистом. Материальные блага мне всегда казались ничтожными и бесильными. Деньги?.. Какая пошлость! Я побоялась оскорбить повара.

И тогда я подумала о самом прекрасном... о моей матери... Ведь каждый ребенок считает свою мать красавицей, а я имела на то основание: разве об этом не твердили все вокруг? И я решила, что должна сделать что-то необычайное от маминого имени, и это вознаградит его на всю жизнь. Но что бы это могло быть, я еще и сама хорошо не знала. Смутные догадки вспыхивали, но тут же угасали в моей душе.

Лето было в самом разгаре. Приближался Ольгин день. По случаю именин моей тети Оли был торжественный обед. На сладкое повар сделал мое любимое безе. Оно хрустело, таяло во рту и пахло ванилью. После обеда с сердцем, переполненным благодарности к повару, я выбежала на террасу. И вдруг! Вижу: три темно-пунцовых розы лежат на перилах! Тетя Таля любила украшать свои темные волосы живыми цветами; это она сорвала их в оранжерее и, видимо, забыла здесь перед обедом.

Розы! Розы и мамал! Смелый план тотчас созрел в моей безумной голове: схватив розы, я стремглав помчалась с ними по дорожке от служебных построек к усадебному дому. Волнуясь, я торопилась отстегнуть и снять детский браслет — подарок моей крестной Александры Александровны Милорадович: в золотой обруч среди тончайшей резьбы была вделана крупная персидская бирюза. Это был мой талисман, я никогда его не снимала, но имело ли это значение, если я делала повара счастливым?..

Вот по дорожке от дома к кухне идет в белокурых кудряшках лакей Николай. Нет. Этому я не доверю — он фискал. Я пропустила еще нескольких человек, ненадежных, как мне казалось, и наконец увидела идушего по дорожке Микитку, как его все называли. Это был добродушный и немного глуповатый чистильщик фонарей и ламповых стекол.

— Никитушка, пожалуйста, прошу вас, передайте эти розы и браслет в руки повару-кондитеру и скажите, что это ему посылает сама... — на этом слове я сделала ударение, — сама княгиня Мещерская!

Затем с легкой радостью на сердце я побежала на площадку играть в крокет. Я чувствовала, что мой долг исполнен: я сделала все что могла. Обожаю мать и считая ее совершенством красоты, я была уверена, что сделала повара самым счастливым из смертных, пойдя на столь невинный, с моей точки зрения, обман. Я и не подозревала того грандиозного скандала, который не замедлил разразиться.

Все темные страсти, которые волей и трудолюбием сдерживал столько времени несчастный кондитер, вырвались наружу. Получив три розы и золотой браслет «от самой княгини», кондитер обезумел — вся молодая кровь и все честолюбие бросились

ему в голову. Он принял подарок как знак благоволения княгини и, вообразив себя без пяти минут фаворитом, сошел, как говорится, с рельсов. От предчувствия неожиданного перелома в своей судьбе, предвкушая какую-то блестящую, открывающуюся перед ним карьеру, несчастный тут же вдребезги напился. Он сорвал с головы свой высокий поварской колпак, сбросил фартук и на глазах у всех слуг кинул их в пруд, где они, будучи сильно накрахмалены, вздулись пузырями, ко всеобщему изумлению, и поплыли белым ворохом. Вдев одну из роз себе в петлицу, размахивая оставшимися в воздухе, кондитер дико горланил песню о «Ваньке-ключнике и молодой княгине» и пытался в таком виде предстать перед нашей матерью. Он рвался к ней. «Она меня ждет!» — рявкал он, награждая зуботычинами каждого, кто преграждал ему путь. Особенно возмущали и озадачивали всех двусмысленные слова нахальной песни кондитера о Ваньке-ключнике: там была какая-то тайна, о которой ведали только «перина пуховая да княгиня молода»... Сдерживавшие кондитера слуги никак не могли понять причины его внезапного сумасшествия. Он впал в буйство, его связали, и вот тогда неожиданно из его кармана выскользнул и упал на пол детский золотой браслет.

Пошло дознание. Браслет был всем известен, но я и не думала отпираться. Я была ошеломлена происшедшим и понимала одно: корень зла был во мне. Самое тяжелое было, что мне не позволили даже объяснить, чем был вызван мой поступок. Ну что же, к жестокости взрослых я уже успела привыкнуть...

Целую неделю я была лишена солнечного света и сидела в комнате со спущенными шторами. Еду мне приносили не только без сладкого, но даже без белого хлеба. Никаких книг, даже учебников, читать не разрешили. Передо мной на столе лежало только Евангелие. Я должна была все семь дней размышлять о содеянном мною преступлении.

Когда я вышла «на свободу», я узнала, что моя верховая лошадь, мой любимый друг, мой рыжий пони Ами отдан в подарок в зоологический сад.

Вячеслав, как всегда, отчитал меня коротко и ядовито:

— Скажите, какая нашлась маркиза Помпадур! Дарить на память свой браслет! Ро-о-о-а! — При этих словах он многозначительно сплюнул в сторону.

Повара-кондитера, конечно, тут же рассчитали, но самое обидное было для меня то, что у него отняли мой браслет. Увидя его в руках у матери, я горько заплакала и была даже рада тому, что она немедленно, у меня на глазах подарила его другой девочке (дочери нашей белешвейки).

Так мои самые искренние чувства принесли только горе человеку, которого я никогда не видела и которому так желала самого большого счастья.

Водопровод работал круглосуточно. Круглосуточно должна была работать и столовая. Казалось, мать ухватилась за эти обстоятельства: зачастую она не приходила ночевать, иногда среди дня забегала отоспаться, умудряясь урвать редкие часы днем, когда ей становилось совсем уж невмочь.

Я понимала ее: ей было тяжело валяться со мной на жестком полу, ей даже тяжело было видеть меня, — и иногда мне казалось, что ей было бы легче, ежели бы я и вовсе не существовала. Часто она отводила от меня взгляд. Но в работе, среди людей, в неустанном труде она забывалась.

Мать обладала огромным мужеством, к тому же ведь она хотя и в юности, но была актрисой. В нашей новой жизни, которую она сама, по своей воле и по своим убеждениям выбрала, ей удавалось казаться спокойной. Она была в меру оживлена, даже улыбалась, но эта игра давалась ей нелегко.

Однажды, видя через окно, что она идет домой, я бросилась к двери и приоткрыла ее, но взглянув на мать, тотчас закрыла. Не веря себе, я продолжала смотреть теперь на мать из засады сквозь маленькую щель. Она поднималась по ступеням лестницы словно на ощупь, не видя ничего перед собой. Ее тонкие пальцы скользили по перилам, и она шла вверх с открытыми, но ничего не видящими глазами, будто сомнамбула. Это оцепенение походило на сон с открытыми глазами или на состояние транса. Какие картины, какие воспоминания проходили в эти минуты перед ее внутренним зрением?.. Закрыв дверь, я отошла от нее с сильно бьющимся сердцем. Мне казалось, я поступила дурно — подсмотрела что-то недозволенное...

Через несколько минут мать вошла; улыбаясь, она обратилась ко мне с каким-то вопросом, и мы заговорили о чем-то постороннем. Теперь, когда я смотрела на нее

внимательнее, я заметила, какие коричневые тени легли под ее всегда прекрасными глазами и волосы ее у самого лба и на висках чуть-чуть посеребрились.

И на плечи этой женщины свалилась тяжелая обязанность меня кормить?.. Сидя в нашей комнате в часы вынужденного одиночества, раздумывая над своим безвыходным и унижительным положением, я все чаще стала думать, что мать может ошибаться. Какое право имела она делать из меня бессловесную рабу и бездеятельного трута?.. Я стала замечать, какие странные взгляды бросали на меня рабочие, когда я с чайником прибегала к кубу за кипятком. В этих взглядах было и сожаление и любопытство. Но жалости в них было больше. По нескольким долетевшим до меня обрывкам фраз я убедилась, что дочь кухарки считают психованной и какой-то недоделанной: «Оттого и людей боится, оттого взаперти сидит»... Это было последней каплей. Во мне все бушевало; рождался бунт против всех и против всего, а главное, против собственной матери. «Так продолжаться не может, не может,— шептала я сама себе,— я что-то должна сделать». А что именно, еще осознать не могла.

В ясный, холодный день поздней осени, когда мою мать послали в Москву за инвентарем для столовой, я вышла из казармы. Сердце мое было переполнено решимостью, хотя я по-прежнему не знала, к кому мне следует пойти. Куда обратиться? Я остановилась в просторном дворе, вдыхая холодный воздух, полный запахов перепревших листьев. Посмотрела на облетевшие деревья, окаймлявшие рублевские аллеи, увидела вдали двор, заполненный детьми, и большое здание школы. Оттуда доносились веселые детские голоса, смех, выкрики. Видимо, то был час большой перемены, поэтому все ученики и высыпали во двор.

Меня потянуло к ним, потянуло непреодолимо. Мне тоже захотелось смеяться, бегать, играть в салки, захотелось сесть за парту, увидеть перед собой белую гладь раскрытой тетради, захотелось взять в руку перо, я даже на какой-то миг почувствовала знакомый запах чернил, но... подавила в себе все эти ненужные чувства и воспоминания.

Быстрым шагом я направилась к школе. Подходя к ней, я заметила на крыльце пожилого человека с длинными седыми усами, внимательно и выжидательно на меня смотревшего.

— Здравствуйте,— сказала я.

Старый учитель ответил молчаливым кивком и продолжал смотреть на меня вопросительно.

— Не нужно ли вам в школе подметать полы, стирать пыльные тряпки, мыть чернилницы или вообще что-нибудь делать? Дайте мне какую-нибудь работу за школьный обед,— выпалила я все, что было у меня на уме, замечая со страхом, что лицо учителя не только не потеряло своего строгого выражения, а, наоборот, стало еще суровее.

— Откуда ты? — спросил он. — Почему до сих пор не приходила?

— Я дочь поварихи, мы приехали из Москвы,— с трудом проговорила я.

— Ну и что же? А почему не приходила? Ты что, не знаешь разве, что учебный год уже начался? Где училась раньше? — забросал он меня вопросами.

— Нигде не училась,— солгала я, заливаясь краской. — И учиться нигде никогда не буду. Я пришла узнать насчет работы. — Мне показалось, что этими словами я ответила на все вопросы старика.

— Ах вот ты как? — Он поправил на носу очки. — Ты кто? Лентяйка или дурочка? — уже зло спросил он. — Вырастешь, тогда найдешь по сердцу работу, а пока иди домой и подумай над своим глупым ответом. Когда надумашь учиться, придешь, а до тех пор не приходи... Теперь я тебя вспоминаю: это ты весь день шмыгаешь взад и вперед по двору с чайником? И свою мать ко мне приноси. Слышишь? Ишь какая уборщица выискалась...

Быстро повернувшись, я, не оглядываясь, зашагала обратно к казарме, чувствуя спиной сверлящий и недоумевающий взгляд старого педагога, который в душе своей был ко мне полон благожелательства и иначе отнесись к моей просьбе не мог...

Эта неудача остро ранила меня, и я почти весь день сидела безвыходно в казарме и в первый раз отказалась пойти за кипятком, когда вернувшаяся из Москвы мать послала меня за ним.

— Почему ты не слушаешь меня? — удивилась мать.

— У меня болит голова.

Мать почти машинально коснулась рукой моего лба, но убедившись, что у меня нет жара, больше ни о чем меня не расспрашивала.

На другой день я снова отправилась в школу. Если в первый раз я пошла наугад и попала к крыльцу школы второй ступени, где встретил меня сам заведующий, он же, как потом оказалось, и учитель математики, то теперь я надеялась встретиться с кем-нибудь из учительниц. Их было много, все они были молодые, и мне хотелось верить, что женщины отнесутся ко мне мягче. Но ничуть не бывало! И другое крыльцо не принесло мне удачи. Результат был тот же. Сконфуженная я стояла в большой, просторной учительской.

— Работы для подростков у нас нет. Подростки у нас учатся, а в твоём возрасте кончают школу второй ступени...

Такой ответ услышала я от учительницы, которая сортировала и просматривала груды лежавших перед ней на столе тетрадей. И по безапелляционному тону, по строгому звучанию ее голоса и даже по тому не совсем искреннему рвению, с которым она продолжала заниматься своим делом, я поняла: надежды нет!..

— Извините,— тихо сказала я и медленно направилась к дверям.

Я шла мимо пестрых географических карт, развешанных по стенам, мимо каких-то расписаний... Все конечно! все для меня конечно! — отбивало мое сердце. А на больших окнах с широкими подоконниками стояло множество цветущих растений, мелькали яркие огоньки герани, распластались блестящие, точно влажные, широкие листья бегонии. В маленьких горшочках сидели всевозможные виды кактусов, а поверх них протягивало свои пахучие листья лимонное дерево. Здесь было светло и чисто, щедро облакано солнцем, здесь все росло вместе с той веселой беззаботной гурьбой ребят, что, смеясь, прыгали и кричали во дворе. Но мне здесь не было места... Вдруг я поравнялась с роялем. Войдя в учительскую, я в волнении его не заметила. На его черном полированном хвосте лежали разбросанные ноты. Я невольно остановилась. Это было мое любимое, родное, но я не смела дотронуться до нот, тщетно пытаясь хотя бы прочесть заглавия на обложках.

— Любишь музыку? — раздался за моей спиной вопрос учительницы. Я кивнула. — Может быть, ты играешь?

Я снова кивнула, потому что слова застряли у меня в горле. Услыхала за спиной звук отодвигаемого стула. Затем легкие шаги. Учительница встала и подошла ко мне.

— Садись сыграй что-нибудь. — Она подняла крышку и указала мне глазами на белевшую клавиатуру.

Я села и заиграла первое, что пришло мне в голову. Это были «Три контрданса» Бетховена. Видя улыбку поощрения на лице учительницы, я прервала контрдансы бравурным «Свадебным шествием» Грига.

— Да ты нам позарез нужна! — воскликнула учительница. — А можешь ли ты подбирать по слуху? Ну, например, «Интернационал»?

Стараясь не ошибаться, я стала подбирать много раз слышанный мотив.

— Это слишком низко, — прервала учительница, — попробуй в другой тональности, повыше. Но только чтобы наверху было не выше верхнего фа.

Подбирая удобную для хора тональность, мы обе увлеклись, обе пели, и я даже на какой-то миг забыла о том, зачем я сюда пришла. Учительница сама прервала наше занятие. Она обняла меня за плечи.

— Ты будешь учительницей пения, — сказала она. — Будешь каждый день наравне с нами иметь школьный завтрак... это пока... а там увидим... Теперь ответь по-честному: почему не хочешь учиться? — Спрашивая так, она взяла меня за плечи и, крепко держа перед собой, испытующе смотрела мне в самые глаза.

— Если по-честному, — так же прямо, не отводя взгляд, ответила я, — то на этот вопрос я ответить не могу. Не хочу лгать. С учением у меня покончено навсегда, а работать мне надо. Понимаете?

Она тут же отпустила меня. Отошла и села вновь на свое прежнее место за столом. Теперь она смотрела на меня понимающе и, будто не придавая значения моему ответу, спросила:

— Это твоя мать устроилась работать в нашей рублевской столовой?

— Да.

— Вы приехали из Москвы?

— Да...

С минуту учительница молчала, что-то соображая.

— Хорошо! Я постараюсь уладить вопрос с тобой в нашем школьном совете. Думаю, что все будет хорошо. Ты нам очень нужна. Может быть, в дальнейшем удастся провести тебя на эту должность. Конечно, заглазно... если выйдет...— И, словно спохватившись, быстро заговорила:—Сегодня же после четырех, когда окончатся занятия, приходи ко мне сюда, надо подобрать несколько песен. Надо еще посмотреть, справишься ли ты. Будем петь «Смело, товарищи, в ногу», «Мы — кузнецы», «Вихри враждебные»... Я подготовлю тебя к первому уроку.

Александра Николаевна Ивакина — так звали эту милую, навсегда запомнившуюся мне молодую женщину. Чуть-чуть курносая, с густыми пепельными волосами и большими темно-кариыми глазами, она обладала прекрасным сочным контральто; впоследствии я аккомпанировала ей много раз на концертах в Рублеве. Она пела арию Любавы из «Садко», песни Леля из «Снегурочки» и классические романсы. Я не знала, что именно подумала Ивакина обо мне и о моей матери, но больше никогда никто из учителей меня ни о чем не расспрашивал и поступить в рублевскую школу мне не предлагал.

Когда в вечер этого памятного дня моя мать пришла из столовой, принеся мне, как обычно, свой ужин, меня не оказалось. Комната была пуста. Вернулась я только в девять часов вечера. Мать встретила меня тем негодующим взглядом, от которого у меня раньше застыла бы кровь в жилах. Но на этот раз я, ничуть не испугавшись, радостно бросилась ей на шею и бессвязными словами пыталась рассказать о моей удаче.

— Все-таки ты посмела меня ослушаться! — сказала мать, холодно освобождая свою шею от кольца моих сомкнутых рук. — Ты все-таки поступила против моей воли!

— Да! И буду так делать всегда, если вы окажетесь неправой! — воскликнула я решительно, сама не веря своим ушам и не узнавая звука своего голоса.

— Я могу быть неправой? — медленно повторила мать. — Так ты сказала? — Она побледнела от гнева.

— Да!!! — еще раз непозволительно громко ответила я, чувствуя, словно во мне говорит кто-то другой. Потом я уже много тише продолжила: — Не сердитесь на меня, прошу вас! Вы все еще считаете меня ребенком, а я ведь все, все вижу! И ваши страдания. Ну поймите вы меня: я сама должна зарабатывать себе на хлеб!

Мать посмотрела на меня с удивлением и опустила глаза. Когда она подняла их вновь, я увидела, что в них стояли слезы. О, как захотелось мне снова броситься к ней на шею! Но я сдержала свой порыв и, сделав вид, что ничего не заметила, молча отвернулась...

Возможно ли описать, какой прекрасной стала моя жизнь? Я бросилась в работу с такой радостью, с какой измученный жарой человек бросается в прохладные волны многоводной реки. Теперь каждый новый день не был для меня пустым днем. Я была взята на месяц испытательного срока, но я уже регулярно получала питание. Это был хотя и очень жидкий, но суп из пшена, а затем мороженая, но все же картошка. Все это было горячим и казалось бесконечной роскошью в те голодные годы, но самым главным был кусок, маленький кусок сероватого, полусырого хлеба, моего собственного, трудового. Этот паек получали все трудящиеся люди, и я получала его тоже наравне со всеми. Он наполнял мое сердце радостью, неизменной гордостью, и я больше не боялась будущего: я знала — работы хватит... Я знала и другое: я тоже была нужна!..

Но с первого же дня работы встали на моем пути и первые трудности. Дело в том, что школьники, точно сговорившись, не желали видеть во мне педагога, держали себя со мной запанибрата. Никто не хотел меня слушаться, а некоторые начали с того, что стали меня изводить. В большинстве случаев это были ученики старших классов, у которых уже начинали звучать по-мужски голоса и появлялся над губой первый пушок.

На хоровах занятиях, когда сама Александра Николаевна пела с нами густым, сочным голосом, все шло благополучно, но едва начинался урок теории — нотной грамоты — и я оставалась с моими учениками с глазу на глаз, как поднималось что-то невообразимое. Предметом их бесконечных насмешек был мой (очевидно, от большого сердца) румянец и завивавшиеся с юности волосы, которые я никак не могла пригладить щеткой.

— Катерина в класс пришла — накрутилась. И висюльки себе навела — накрутилась! — орала она хором.

Продолжалось все это безобразие до тех пор, пока я в ярости (чего они только и дожидались) не вскакивала со своего учительского места и мы всем гуртом, к их великому удовольствию, не отправлялись в умывальную. Там, чтобы доказать им, что они ошибаются, я при них мочила волосы, которые еще больше вставали дыбом, и терла водой щеки, отчего они краснели до безобразия...

Конечно, для учителей это не прошло незамеченным; они решили мне помочь: теперь на уроках теории музыки присутствовал для порядка тот самый заведующий школой, к которому я пришла в первый раз. Сама не знаю почему, но я навек сохранила по отношению к нему чувство непреодолимого страха. Боялась я его ужасно: настороженный, с грозным взглядом поверх очков, с огромными усами, он безмолвно сидел на уроках, и мне казалось, что усищи его шевелятся... Мел прыгал в моей руке, нотные линейки, которые я рисовала на доске, выходили кривыми, а кружки нот — кособокими. Зато в классе царил полная тишина.

Несмотря на первые трудности, мой испытательный срок прошел хорошо, и я получила от школьного совета направление в Москву, в МОНО. В Москву поехал сам председатель школьного совета. Мое назначение состоялось заглазно. Так я стала учителем пения.

— Ты теперь педагог, — улыбулась снисходительно мать, — пожалуйста, веди себя солиднее: не бегай по двору за кипятком вприпрыжку, не скачи, как коза, через лужи. Я дам тебе шпилек и покажу, как надо закалывать косы на затылке.

Проходя свое трудовое крещение после первых арестов и потери близких, мы обе шли на ощупь, шли в поисках любого труда. Только нехватка в людях (я говорю о тех, которые могли быть полезными, но еще раздумывали и взвешивали: стоит ли идти работать на большевиков или подождать какого-то «другого времени»?) сделала мою мать сначала кухаркой, потом заведующей столовой, а меня, несовершеннолетнего подростка, педагогом.

Сейчас почти все дети поют и учатся музыке. Если не профессионально, то дома или в вечерних музыкальных школах. Дома они слушают радио, по слуху поют запомнившиеся песни, многие поют на ремне веселый играющий и поющий транзистор. А в те далекие годы, какими были 1918-й и 1919-й, ничего этого не было. Тяга же к музыке была огромной. Вот почему вся молодежь Рублева хлынула ко мне, когда узнала, что я играю на рояле.

В благоустроенном зрительном зале Рублева теперь ни один показ кинокартин не обходился без меня. Ведь в те дни кино было немым и все фильмы шли под рояль. Усевшись на эстраде, за экраном, я видела всю картину и происходящее на экране сопровождала музыкой, которая подходила к тому или иному эпизоду. Сначала это было для меня очень трудно и мне даже казалось, что я никогда с такой работой не справлюсь. И выходило у меня все неважно: я спотыкалась, а иной раз вовсе от страха умокала. В таких случаях в зале раздавались беспощадные свистки.

— Эй, Катя! Музыку давай! Чего застряла? — кричали мне.

В особенности было трудно, когда шли кинокомедии с Фэрбенксом, с Максом Линдером и Чарли Чаплином: они требовали совершенно диких темпов. Мой классический репертуар в таких случаях абсолютно не подходил. Но вскоре все трюки, гонки и бешеную погоню на автомобилях я стала сопровождать быстрыми техническими этюдами, и тогда дело пошло на лад. Я до сеанса просила прогнать мне всю ленту в пустом зале и таким образом заранее подготавливала музыкальное оформление. Теперь возникла новая трудность: соединяя один музыкальный отрывок с другим, приходилось придумывать какую-то отсебятину, чтобы они склеивались незаметно. Но и эту трудность я одолела, и некоторые экспромты, придуманные мною, мне самой даже нравились...

Теперь вместе со мной на эстраду позади экрана забиралась целая компания рублевской молодежи. Все смотрели кино и с восторгом слушали мою игру, считая меня настоящей пианисткой. Конечно, в душе я краснела: что сказал бы мой профессор музыки, услышав весь «музыкальный салат», автором и исполнителем которого я была!..

Зато мой престиж среди рублевской молодежи рос не по дням, а по часам. Я даже стала получать записки. Тексты их были приблизительно такими: «Катя! Поче-

му ни с кем не гуляешь? Давай гулять со мной»; или: «Катя, выходи гулять на фильтры. Я давно по тебе страдаю»; и еще одна, которую я сохранила и сейчас в моем архиве: «Катя! Я влюбился в тебя, как свинья, сам не знаю, что со мной. Выходи гулять на тапцы...»

Когда я показала эти записки моей матери, она очень на меня рассердилась.

— Этого еще не хватало! — воскликнула она. — Ты во всем сама виновата! Слишком много поешь и много смеешься! Держись серьезнее и отвечай всем, что ты педагог, это во-первых, а во-вторых, тебе еще по годам ни с кем гулять не положено. Слышишь?

Но на фильтры я все-таки ходила. Ходила, когда все уже спали, когда встречала мою мать в перерывах ее круглосуточного дежурства. Это замечательное место: большое гладкое пространство, на котором были разбросаны выходившие из земли круглые углубления подземных фильтров. Крышки иных были закрыты, у других полуприподняты над землей. Я уходила в мир фантастики: эта снежная даль, простиравшаяся передо мной, начинала мне казаться брошенным полем древних русских битв, а круглые крышки фильтров — щитами витязей, сраженных на поле брани. Зимняя выюга в те снежные ночи звучала симфоническим оркестром. Я слышала арию Руслана из оперы Глинки: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?»

Я любила бродить густо заснеженными ровными аллеями Рублева. Черные узоры оголенных ветвей качались над моей головой на фоне бесцветного зимнего неба, и мне казалось, что это шумят деревья родного Петровского, его густого парка, родной земли, на которой промелькнуло мое короткое детство.

Когда моя мать дежурила всю ночь напролет, я позволяла себе запретную роскошь. Так как я теперь вела всю клубную работу, мне для подготовки к занятиям был доверен второй ключ от клуба. Днем не хватало времени заниматься на рояле, и иногда я посвящала этому ночные часы. Я входила в пустое здание, запиралась на ключ. Ощупью пробиралась на сцену, включала небольшую лампочку, потом доставала тетради с нотами, всегда хранившиеся около рамп, и садилась за рояль. Зрительный зал тонул во мраке. Я представляла себе, что он ярко освещен и все ряды заполнены публикой. Я играла вещь за вещью, забывая обо всем на свете. Я воображала себя пианисткой, слышала аплодисменты: в те дни я была еще глупым подростком и фантазеркой.

Но вскоре жизнь, жизнь реальная и требовательная, оторвала меня от всех моих девчоночьих грез. Ночью надо было спать, для того чтобы потом весь день трудиться. А работы было по горло. У меня не бывало минуты свободной. Все вокруг меня хотели петь, и каждому я аккомпанировала. Школьные спектакли тоже не проходили без музыки. Если я играла в клубе, сопровождая картину, то и после ее окончания меня не отпускали домой. Все хотели танцевать. Я должна была играть вальсы, краковяк, падеспань, польку и без конца русскую. Конечно, не обходилось и без лихой цыганочки...

В Рублеве жил застрявший каким-то образом после первой мировой войны не то немец, не то австриец. Звали его Вальтер. Он был чудесным скрипачом-самоучкой. К нему примкнули рублевские парни, игравшие на мандолине, гитаре и балалайке. Недоставало только концертмейстера, который и появился в моем лице, когда я по их просьбе села за рояль. На радость не только Рублеву, но и многим окрестным деревням, оркестр очень быстро заслужил большую популярность и любовь.

На нашем «культурном фронте» не все было гладко: несколько раз я была свидетельницей самых отчаянных побоищ. Дело в том, что в рублевский клуб на зрелища приходило немало молодежи из окрестных деревень — Павшина, Захаркина и других. В то время многие в Подмосковье гнали самогон, и вот бутылки с так называемой ханжой молодежь приносила с собой на гулянье в Рублево. Тут же урядкой их распивали. После кино или спектакля обычно бывали танцы, и с них-то и начиналось ухаживание за девушками. Подбодренные ханжой, парни придирались друг к другу по всякому поводу. Конечно, причиной ссоры обычно бывала ревность, и затевалась драка. Да еще какая! Начиналось с рукопашной, а кончалось дикими побоищами, причем в ход пускались финки.

С тех пор как в клубе участились вечера и концерты, молодежь проводила здесь все свое свободное время. Многие приходили из окрестных деревень со своими инструментами, чтобы вступить в рублевский оркестр.

Конечно, рояль есть рояль, без него нет работы в клубе. Но в данном случае мне, неопытному подростку, никаких заслуг приписано быть не может. Если в хоровой работе школы меня всецело вела и во всем помогала учительница Александра Николаевна, то в организации оркестра моим наставником стал Вальтер — первая и единственная во всем оркестре скрипка. Благодаря этим людям я все увереннее и увереннее себя чувствовала, а музыка объединяла всю молодежь и стирала существовавшую ранее вражду: «Наши девушки, рублевские, — не ваши, мы свои, а вы пришлые, чужие».

Откуда же я, подросток, учившаяся в закрытом институте, могла что-то смыслить в струнном оркестре? Дело в том, что уже в девятилетнем возрасте я играла на аккомпанирующей балалайке в нашем струнном домашнем оркестре. В нашем доме огромное место занимало искусство, был свой театр. Музыкаю же были заняты все: мать пела, брат играл на скрипке, я — на рояле. Однажды брат вместе с товарищами организовал струнный оркестр. Он тут же засадил меня за вторую, огромную для маленькой девочки, балалайку. Она еле умещалась на моих коленях. Видя, как мне трудно с ней справляться, брат подбодрил меня:

— Не крихти и не сопи. Выше голову! Ты здесь одна девчонка. Тебе выпала высокая честь. Гордись!

Мне действительно от этих слов становилось радостнее на душе, но на деле было неважно: на балалайке было три струны, и одна толще другой. Аккомпанемент был несложен, всего два-три аккорда, но я никак не могла усвоить, в каких местах надо менять аккорды...

— Откуда у меня сестра такая тупица? — восклицал брат, давая мне исподтишка подзатыльник. — Если тебе медведь на ухо наступил, то смотри на меня: как я тебе подмигну, так и меняй аккорд!

От толстых проволочных струн у меня болела кожа на пальцах и натирались волдыри.

— Я не могу больше... мне больно... — хныкала я.

— На войне хуже бывает, — отвечал брат и подкреплял мою волю более внушительным подзатыльником.

Вскоре я освоилась и музыкальным чутьем угадывала смену нужного в том или ином музыкальном обороте аккорда.

Потом я уже играла на первой балалайке и даже на мандолине. Позднее мне вменялось в обязанность самой настраивать по роялю все инструменты перед каждой репетицией или выступлением. Многому меня научил и наш домашний театр, которым я была так увлечена в детстве.

Театр... Им увлекались не только люди нашего класса, им увлекались все. Поэтому спектакли игрались где только было возможно. В старых сараях, недостроенных помещениях, в беседках парка, на террасах больших дач, не говоря уж о специально построенных любительских театрах.

Наш театр со зрительным залом на двести человек находился, как я уже говорила, на втором этаже. В подвальных помещениях в трех огромных сундуках хранился театральный гардероб. Открывались сундуки большим, красивым, резным медным ключом, при повороте которого начинали звучать мелодии, походившие на игру музыкальных шкатулок. Один сундук хранил военные старые мундиры, трютолки с перьями, кавалерийские сапоги с огромными смешными шпорами, изящные тонкие рапиры, неуклюжие грозные эспадроны. Другие сундуки хранили древние кокетливые кринолины, кружева, тальмы, платья давным-давно умерших царских фрейлин и много старинных вечерних дамских туалетов с разноцветными веерами из кружев, из райских перьев, расписанных художниками.

Как я, маленькая девочка, рвалась на сцену! Как завидовала взрослым, игравшим пьесы, водевили, ставившим парады! Но для меня не находилось ни одной роли, а брат пресекал все мои попытки одной и той же жестокой фразой: «Эта абрикоса не для твоего носа!» — за этим я получала по носу легкий, но все-таки обидный щелчок. Затаив обиду, я бежала за кулисы, чтобы, спрятавшись, услышать читку очередной пьесы или посмотреть репетицию.

И вдруг обо мне вспомнили! Понадобился маленький негретеночек. Я была счастлива без границ!

Но когда мне вздумали измазать сажей все лицо и руки, а на рот наклеить из

толстого красного сукна вывороченные негритянские губы, я расплакалась и отказалась.

Негритенок же был нужен позарез! Тогда мне на голову натянули черный шерстяной нянькин чулок, для глаз вырезали дырочки, а вокруг них нашили большущие глаза с круглыми белками. Для рта прорезали небольшую щель, а на эту щель, тоже прикрыв ее, нашили все те же вывороченные, из сукна, негритянские губы. Все это мне даже и понравилось бы, если бы не мой сильно расплюснутый чулком нос. Вместо того чтобы измазать мне сажей руки, на них надели мамыны черные лайковые перчатки.

И вот миг счастья! Мягко зашелестев, обе части занавеса раздвинулись. Красавец Султан (конечно, Вячеслав) в расшитом каменьями тюрбане полулежал на парчовом ложе под шелковым балдахинем. Тогда только что купленных рабынь толкала у входа, и при каждом ударе старого Визиря в ладоши два евнуха выводили одну за другой невольниц.

Я усиленно помахивала опахалом, которое, кстати сказать, оказалось тяжело-ватым. От каждого движения шерсть нянькиного чулка отчаянно щекотала лицо, и от моего затрудненного дыхания маленькие шерстинки вползали в ноздри. Стараясь освободиться от них, я сделала глубокий вдох, думая, что они вылетят, но вместо этого они уже целым вихрем вползли мне в ноздри. Случилось самое ужасное: я громко чихнула, чуть-чуть подпрыгнула, опахало задело балдахин, его шнуры сначала натянулись до предела, а затем лопнули — и огромный балдахин, шурша шелком и звеня бисерными кистями, рухнул вниз...

Невольницы с визгом разбежались, а одна, зацепившись за что-то, разорвала свой газовый хитон и под веселый хохот зрительного зала полуобнаженная убежала за кулисы.

Так, чихнув, я провалила всю сцену красоты Востока и покрыла себя несмыслимым позором, но в душе своей сохранила ненасытную страсть к театру. Запах кулис, шорох раздвигавшегося занавеса, черная бездна зрительного зала, погруженного во мрак, заворожили, заколдовали мою детскую душу.

И вдруг снова обо мне вспомнили! Вспомнили потому, что кто-то из взрослых увидел, как высоко я люблю взлетать на гигантских шагах, в особенности когда меня заносили.

Во дворце шли репетиции к отрывкам из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Была необходима ведьма, пролетающая на помеле по небу (в то время как она же в образе красавицы Панночки лежит бездыханная на лугу в траве).

В самом верху над сценой на металлическом тросе висело и двигалось нечто вроде маленького креслица, напоминавшего корзинку. Креслице это было металлическое, и через него была проткнута большая метла. Казалось, что я сяду верхом на метле, в полете кресло скрывалось в складках моей широчайшей черной юбки, развевавшейся по-ведьмински. Уродливая маска Бабы Яги с длинным крючковатым носом и темный платок, из-под которого развевались по ветру пряди белой мочалки, — все это сделало свое дело: ведьма была налицо.

Пролетая по небу, я должна была, дико визжа, переходить затем на низкий собачий вой, а потом снова на визг и снова на вой. Репетиции проходили блестяще: я оглушала всех актеров, с хохотом они затыкали уши, потом аплодировали мне, и гордость моя росла, но... на премьере ретивые механики перестарались и слишком сильным рывком запустили мою корзинку по тросу. Меня спасло только то, что первый толчок получила ручка метлы, отчего деревянная ее часть с треском разлетелась, но лоб мой был разбит в кровь, а ведьминский вой сменился отчаянным детским криком и ревом.

С этого дня с театром было покончено. Мама запретила мне не только слушать репетиции, но и присутствовать на спектаклях. Гувернантка не спускала с меня глаз и ходила за мной по пятам. Я почти все лето проходила с забинтованной головой, а зажившие ссадины долго еще держались на моем лбу синеватыми пятнами.

Потом прошло еще лето, а за ним еще одно... И наконец наступило то самое, когда мама скрывала у себя трех приговоренных к ссылке студентов.

Хотя мои злополучные выступления на сцене были давно забыты, однако один человек их помнил и даже задумал снова выпустить меня на сцену. То был учитель

греческого языка моего брата Степан Николаевич Мелисари и его близкий друг, приехавший к нам из Афин в Россию погостить, Панайот Георгиевич Концампопуло.

Юность всегда тянется к юности: Мелисари с Панайотом, часто заходя во флигель управляющего, познакомились, а затем и сблизились с так называемыми бывшими каторжниками, о которых я расскажу позже, а те в свою очередь сдружились с сыновьями управляющего — молодыми студентами.

Дневного чая я всегда ждала с радостью: после него обычно моя гувернантка читала какой-нибудь роман, лежа в гамаке, или писала письма на родину, или просто удалялась к себе в комнату поспать часок-другой.

У меня же в эти часы был урок верховой езды на моем любимце пони Амишке, и я переходила на манеже в руки нашего берейтора Смэтта. Это был человек небольшого роста, седой, добродушный, но строгий в правилах верховой езды. Он мне очень нравился, потому что никогда на меня не жаловался. Если Смэтт бывал занят, то я имела право, взяв свои игрушки, уйти в самые отдаленные места парка. Там я часто встречалась с Мелисари, Панайотом и со всеми обитателями флигеля. Обычно они подзывали меня к себе и, усевшись на первую попавшуюся скамейку или в беседке, просили меня прочесть им какие-нибудь стихи. В памяти моей их было множество, декламировать я очень любила. Правда, к сожалению, это был не зрительный зал, но... остальное дополняла моя пылкая фантазия.

И вот однажды Мелисари сказал:

— Не горюй. Ты у нас обязательно выступишь на сцене, и очень скоро.

От волнения у меня даже дыхание перехватило.

— А что скажет мама? А Вячеслав? Кто меня допустит?

— Все должно готовиться в полной тайне.— Тут Мелисари перешел на шепот заговорщика.— Никому ни слова! Полная конспирация. Мы тебя переоденем, а потом, когда узнают, будет поздно. Тебе будут рукоплескать, как Ермоловой. Всем, кто тебя не признавал, мы натянем длиннющий нос! Выше голову, рыжая Рагуа! Мы теперь все заговорщики! Смотри же не проговоришь!

Тщеславие всегда было моим пороком. Это предложение я сочла большой честью. Взрослые прекрасно знали, как поймать меня на удочку: жажда славы вскружила мне голову, я горела одним желанием — отомстить маме за ее всегдашнюю ко мне строгость и натянуть нос моему брату-командиру.

Уже прошла ее времена, когда я прятала свои запретные писания в кукольной комнате на полу под ковром. Теперь я хранила их в шкафу в моей детской библиотеке за книгами. Туда я положила и вырванный из хрестоматии лист со стихотворением Плещеева «Все люди—братья». Этот лист, сложенный вчетверо, мне передал Панайот.

После двух-трех свиданий с заговорщиками в парке стихотворение было выучено наизусть; но тут я узнала нечто очень для себя неприятное. Дело в том, что в нашем зрительном зале привык ряд кресел почти весь был персональным и одно из кресел в самой середине принадлежало предводителю московского дворянства, известному государственному деятелю царской России Александру Дмитриевичу Самарину. Он был попечителем дворянского института у Красных ворот, где я впоследствии училась. Этот седой, благожелательный ко всем старик пользовался всеобщим уважением и был к детям необычайно добр и ласков, и вдруг теперь, произнося фразу: «Богатый! Ты носишь нарядные платья!!!» — я должна была, вытянув вперед правую руку, злобно погрозить указательным пальцем перед самым носом Самарина... Ведь это же означало оклеветать нашего друга, опозорить его, указав на него всему зрительному залу!

— Этого я не могу! Не могу... — зашептала я.

Но тут Панайот с досадой взъерошил пятерней копну своих черных кудрей и вытаращил на меня свои зеленые кошачьи глаза.

— Значит, мы все ошиблись в тебе — ты не актриса. Актриса не должна иметь своих собственных чувств, личных симпатий и антипатий. Она должна перевоплощаться. Ты играешь оборвыша, нищего мальчика, о котором написал стихи Плещеев. Твои родные, замученные помещиками, умерли. И вот этот нищий, без крова, бродит по дорогам.

— Но ведь крепостного права больше нет! И Александр Дмитриевич не имеет никаких крепостных! — возмущилась я.

— В том-то и дело, что ничего этого нет! — с улыбкой вмешался в наш спор

Мелисари. — На то и театр: театр умеет воскресить любую эпоху. Если ты актриса, то должна понять, что Китти Мещерской нет, а есть несчастный мальчик-нищий. Самарина тоже нет. Это к нему лично не относится. Он предводитель дворянства и является представителем того класса, который ненавистен несчастному, голодному оборвышу, понимаешь?! В этом ты и должна убедить всех зрителей; это твоё выступление — экзамен твоему таланту, понимаешь? Ты услышишь, как весь зал будет тебе аплодировать...

И зал действительно гремел рукоплесканиями. Крики «браво», «бис» взлетали высоко, под самый купол дворца, падая на мою детскую трепещущую душу волшебным дурманом. Правда, где-то глубоко в памяти моей запечатлелось удивленное и несколько даже растерянное лицо Самарина, бледный от гнева Вячеслав, закусивший нижнюю губу, что всегда было признаком его волнения, и красивая рука бабушки, слишком быстро обмахивающая разгоряченное лицо черным кружевным веером... Но до этого ли мне было! Я так всегда мечтала быть мальчишкой! Я была в восторге оттого, что мою косу запрятали в большущий картуз. Он был выцветший от дождя, с черным сломанным лаковым козырьком. На моих ногах были подвязанные веревками грязные лапти. А когда я устала выходить на сцену и раскланиваться, Мелисари схватил меня, поднес к самой рампе, поднял высоко в воздух, повернул спиной к зрительному залу и показал всем огромную четырехугольную ярко-рыжую заплату на моих темных штанах. Эффект был невообразимый: зал завыл от восторга.

Нужно признаться, что в тот миг я в душе своей даже немного обиделась, так как поняла, что вид этой огромной рыжей заплаты затмил мое драматическое выступление. Наступил момент отрезвления, и я начинала понимать, что мне грозит немалое наказание. Однако, как ни странно, его не последовало.

На то было много причин: в те дни у нас гостили чопорные Горчаковы и Мещерские из Петрограда. На гастроли в Москву приехала «украинская Ермолова» — Мария Заньковецкая. Из чувства гостеприимства мама не могла закрыть двери перед главным инициатором и зачинщиком моего выступления Панайотом Концамполом: он был не только другом детства Мелисари, но и племянником архиерея Арсения, жившего в Афинах, многолетнего духовника нашего покойного отца.

Мое выступление поэтому рассматривалось как экспромт-шутка фрондирующей молодежи.

Вячеслав дипломатично молчал, наказывая меня своим полным презрением, но однажды гнев его прорвался. Он преградил мне путь на одной из дальних аллей парка. То было час отдыха, когда я после дневного чая пошла с книгой в одну из беседок.

— К флигелю пробираешься? К своим друзьям? Новые стихи собираешься читать?

Я стояла перед братом молча, ожидая обычного подзатыльника.

— Эх ты, дура набитая! Ловко тебя использовали революционеры! Нашла себе друзей, нечего сказать... — И, повернувшись на каблуках, насвистывая кавалергардский марш, быстро пошел в другую сторону.

На работе у моей матери были свои трудности. Дело в том, что предыдущие заведующие столовой никогда долго не задерживались на своем посту, все они были родом из окрестных деревень и не могли удержаться от соблазна «сэкономить» на рабочем питании. В результате у такого работника столовой появлялась то телочка, то корова, а иногда покупался и целый сруб. Затем неожиданно нагрянувшая ревизия обнаруживала недостачу в деньгах и продуктах, провинившаяся увольнялась, а рублевская столовая опять оказывалась без заведующей. Моя мать всей душой отдалась незнакомому делу. В ней неожиданно обнаружилась талантливая кулинарка — даже при всем скудном ассортименте продуктов тех лет. Очень скоро завтраки, обеды и ужины стали улучшаться за счет прежде списывавшихся и разбазаривавшихся из-под полы «остатков». Кроме того, в это голодное для всей страны время у рабочего стали меньше вычитать за питание, и каждый из них был благодарен за это. Пообедав, люди зачастую приходили к матери, пожимали ей руку, благодарили.

Все было ясно: человек работал честно. И вот тогда моя мать стала получать анонимные письма. Ее предупреждали, чтобы она «немедля убиралась, пока не поздно», чтобы «уезжала, откуда приехала», иначе получит «нож в бок». Мать ничего не го-

ворила об этих письмах, но я сама находила их подсунутыми под нашу дверь. Я тоже делала вид, что не придаю им значения, хотя и видела встревоженное лицо матери. Но она никогда не была трусихой и продолжала по-прежнему ходить глухой ночью через поле в барак столовой, чтобы проверить очередной ужин ночной смены. Я так и не узнала, как она справилась со своими анонимными врагами. Наверно, ей в этом помогли сами рабочие, которые очень хорошо к ней относились.

Воскресенье было для нас тяжелым днем. Поскольку обе мы имели питание на своих работах, этот день был для нас днем голода. Поэтому я согласилась давать уроки музыки двум детям инженера в Рублеве. Плату за уроки я получала от них молоком, так как у них была своя корова. Потом я взяла еще один урок — его мне оплачивали картошкой. Теперь мы были сыты по горло, а мать, смеясь, говорила, что по воскресеньям она была моей иждивенкой. Хотя это и была шутка, но в ней была доля правды, и сердце мое переполнялось гордостью...

Словно сговорившись, мы избегали рублевскую интеллигенцию; даже у себя в школе я никогда ни с кем из учительниц ни о чем постороннем не говорила, хотя часто ловила на себе их молчаливые взгляды. Нас больше тянуло к рабочим, с ними нам было легче и проще.

Лишь теперь я столкнулась лицом к лицу с тем народом, который прежде из-за моего происхождения был отгорожен от меня непроходимой стеной. Ведь в детстве крестьяне были для меня толпами, которые с песнями тянулись вдоль дороги к нашему имению. Приходили они то с первым снопом хлеба, то по случаю церковного праздника. На поляне перед домом им накрывали столы с угощением, давали денег, а иногда выкатывали из погреба бочку вина.

В подмосковном имении мы видели крестьян ближе: это бывало в морозные дни зимних каникул, когда, пройдя несколько верст на лыжах, мы заходили в первую попавшуюся избу передохнуть и натереть лыжи канифолью. Нас встречали приветливые лица: ставился медный самовар, в нем варили чисто вымытые яйца. Мы мазали свежесбитое масло на душистый деревенский, своего печения хлеб, и нам наливали полные блюда тягучего, ароматного темно-золотистого меда...

Было бы неправдоподобно услышать из моих уст рассказ о том, что у моей матери были хорошие отношения с крестьянами, хотя об этих отношениях, не прерывающихся и сейчас, уже не с матерью, а со мной, ее дочерью. О чувстве глубокой дружбы и уважения, об этой связи с простыми крестьянами из нашего прошлого я бы могла написать целую книгу. В продолжение всей моей жизни я видела от них очень много добра и помощи.

Но я ограничусь только теми фактами, которые можно проверить. В нашем подмосковном Алабине границей парка служила река. За водопой крестьяне постоянно платили управляющему наших имений определенную мзду. Посоветовавшись между собой, крестьяне пришли к матери. Они просили разрешения раз и навсегда оплатить эту землю, то есть просили продать им кусок земли.

— Возьмите эту землю совсем, — сказала мать и с этими словами написала крестьянам дарственную.

Наша мать единственная из всей округи открыла дополнительные школы, чтобы после четырехклассного церковноприходского училища дети крестьян довершали образование в объеме восьмью классов. Многосемейным учителям моя мать дарила корову. Таким был Сергей Иванович Астахов.

В Петровском было два здания прекрасной кирпичной кладки времен Демидовых. (Петровским когда-то владели Демидовы, потомки кузнеца Демидова, а расположенным рядом имением Покровским владели Мещерские. Когда один из Мещерских женился на соседке по имени Демидовой, то и Петровское перешло в родовые земли Мещерских.) Это были две оранжереи, в которых выписанный из Греции садовник Габикоста выращивал диковинные фрукты. В особенности у нас в Петровском славились розовые персики — сорт, которым Мещерские любили поражать своих гостей.

В те годы вместо быстрых и бесшумных электропоездов Киевской дороги по вечно ремонтируемой однокорейной «брынке» тащился пыхтящий паровик, переживавший на всех разъездах встречный поезд. Ехал этот паровичок сорок пять верст два часа по расписанию, но на самом деле имел всегда не меньше еще одного часа опоздания. Поэтому большинство помещиков, в том числе и мы, предпочитали возить своих гостей одиннадцать верст на лошадях по шоссе на Голицыно, по Александровской (теперь Белорусской) железной дороге — тут поездов ходило гораздо больше и шли они чаще.

Ни в Покровском, ни в Петровском не было никаких магазинов, кроме аптеки, а крестьяне не имели ни времени, ни денег, чтобы часто ездить в Москву. «Проживем и без розовых персиков»,— решила наша мать. Она наградила Габикоста деньгами и отправила его обратно в солнечную Грецию, а сама затеяла переоборудование обеих оранжерей. Вскоре они обратились в прекрасные магазины, которые, имея всевозможные товары, получили от крестьян название потребительской лавки. Оба эти здания, а равно и всю землю, ими занимаемую, наша мать передала крестьянам, подписав дарственную. В самом начале революции в одном из этих зданий помещался первый волисполком.

С первого дня революции и все последующие годы никто из крестьян никогда, как говорится, пальцем нас не тронул. Наоборот, иногда в голодное время, разыскав нас в Москве, кто-нибудь из крестьян привозил нам молоко, хлеб, а то и кусок мяса. Голод был ужасающий, и этот кусок крестьянин отрывал от своей семьи.

Но история есть история, и если наша мать была в какой-то степени исключением, то на наших глазах с подобными нам крестьяне жестоко расправлялись. Простые люди предъявляли счет своему бывшему хозяину-обидчику, и тот, предчувствуя, что по этому счету придется расплачиваться, может быть, своей головой, спешил как можно скорее скрыться, замести следы, затеряться за окраинах огромной России, растеряться, а если это не удастся, то махнуть и за рубеж, в чужие страны.

Я глубоко чту память моей матери, я благодарна ей за ту ее честную, светлую жизнь, которая дала мне возможность прожить все мои дни «на старых камнях», не боясь никаких неожиданных встреч из прошлого, и смотреть смело каждому в глаза.

Но тогда, в 1918—1919-м, волны народного гнева горячо бурлили. Народ сверг самодержавие, мало-помалу он расправлялся с дворянами и в конце концов должен был уничтожить и нас. Так по крайней мере думала я в тот день, когда впервые приехала в Рублево. Но все обернулось совершенно по-другому: как только мы с матерью с головой ушли в работу, которая теперь стала нашей жизнью, мы невольно очутились в самой сердцевине рублевской трудовой семьи. Со всех сторон к нам стали протягиваться дружеские руки. Их поддержку мы тотчас почувствовали.

С первых же дней к нам часто заходили рабочие: конечно, всегда по какому-нибудь делу. От их взгляда не могли ускользнуть те условия, в которых мы тогда жили. Забота проявилась тотчас же. Так как нашу комнату в казарме мы запирали только для виду и каждый знал, что ключ от нее лежит на площадке лестницы на батарее, к нам мог проникнуть любой человек. Однажды, возвратясь домой в казармы, мы увидели два матраса, набитых душистым сеном, сшитых из чисто выстиранной мешковины. Вслед за ними появились так же таинственно простыни из желтоватой бязи, потом две небольшие подушки, набитые пером, и наконец все довершилось двумя пестрыми, чудесно подобранными из ситцевых лоскутов одеялами. Напрасно мы допытывались, кому мы обязаны этими замечательными подарками. Все отмалчивались, отнекивались и улыбались, а мы никак не могли догадаться: кого же нам благодарить? И потому благодарили всех. Думаю, что в этом мы не ошиблись, так как каждый из окружающих делал для нас то, что мог...

— А что это у вас за железный сундучок всегда в углу стоит?— спросил однажды мою мать один из таких случайных посетителей.

— А это все, что у нас осталось,— просто ответила мать.

— А ежели все, так надо спрятать,— был ей мудрый совет.— Свои-то, рублевские, не возьмут, а вот из округи тут всякий люд ходит... и всяко бывает... одно слово, казармы...

Приняв какое-либо решение, моя мать всегда тут же его без всякого колебания выполняла. Так поступила она и теперь.

Чтобы верить дальнейшему моему рассказу, надо понять психологическую настроенность тех лет, когда вообще ничто не ценилось, когда некому было что-либо продать и когда многие миллионеры умирали с голоду, а под подушкой у них лежали их драгоценности и царские рыжик с изображением Николая II. Надо также понять читателю и психологию моей матери, которая, потеряв всех родных и оставшись без крова, меньше всего думала об этом чисто случайно оказавшемся в ее руках сундучке. Цену ему мы узнали намного позднее, когда так же неожиданно и так же случайно оказались снова в Москве.

Отпуская рабочим в столовой обед, моя мать видела лицо каждого из них через полукруглые, вырезанные в дощатой перегородке окошечки. Ее внимание остановило

на себе лицо пожилого, серьезного человека с открытым взглядом небольших серых глаз. Она попросила его зайти к нам в казарму после дневной смены. Так как нас знали все, то этот человек пришел к вечеру того же дня.

— У меня к вам просьба, — обратилась к нему мать. — У нас здесь нет никого знакомых, мы с дочерью приехали из Москвы, где у нас не оказалось крова, и все, что у нас осталось, заключено здесь, в этом сундучке. Я бы очень просила вас как дешевого жильца взять его к себе на хранение.

— А что в нем есть? — задал пришедший вполне естественный вопрос.

Вместо ответа мать взяла ключик, отперла сундучок и показала все, что в нем лежало.

— Откуда это у вас? — удивился пришедший. — Как оно к вам попало? И это все настоящее?!

— Вот бумага, ее мне выдали в банке при реквизиции нашего сейфа. Я сама не ожидала, что мне столько отдадут... но цветные камни реквизиции не подлежат... Пожалуйста, прочтите бумагу. Здесь моя фамилия, имя, отчество...

— Куда же мне его поставить? — как бы сам себя спрашивал рабочий. — Или спрятать его, что ли? Я просто и сам не знаю...

— Куда-нибудь... куда найдете нужным. А может быть, мне попросить еще чего-нибудь?

— Да нет уж... давайте... ладно, — словно над чем-то раздумывая, произнес пришедший и вдруг широко улыбнулся. — А почему вы именно меня выбрали?

— Да я не выбирала, — искренне ответила мать, — просто так почему-то к вам обратилась. К тому же мне посоветовали прибрать его куда-нибудь к месту... — И она остановилась на полуслове.

— Эх вы! — сказал пришедший и посмотрел на мать не то с жалостью, не то с удивлением. — Жизнь будто прожили, а сами как все равно дитя малое. Ведь у нас в Рублеве у многих сады: яблони, вишни... Осенью бывает, что сюда целой оравой цыгане погадать приезжают, и бывает, что со двора белье с веревок снимают, а то и по казармам шуруют... Ну что же, — прервал он себя, протягивая матери руку для пожатия, — будем знакомы, зовут меня Иваном Ивановичем, мой домик бетонный, четвертый с краю, если идти по аллее к школе.

С этими словами он взял под мышку все, что мы имели, и пошел к выходу.

И снова замелькали дни. Мы с матерью ушли с головой в новую жизнь. То ли хорадачное волнение, которое моя мать так старательно скрывала под маской напускного спокойствия, прошло. В свободное время она теперь сидела в казарме в нашей комнате, штопала чулки, занималась починкой нашего скудного гардероба.

Прошли и те пустые часы глубокой ночи, когда воспоминания недавно пережитого мучили нас. Когда каждая из нас чувствовала, что другая не спит. Когда я до боли кусала себе язык, когда стояло огромных усилий, чтобы не заговорить и не расплакаться в жалобах...

Благожелательность, приветливость рублевцев, их забота, которую мы встречали на каждом шагу, успокаивали нас, давали силы. Сознание, что мы нужны, мы трудимся наравне со всеми, вселяло в нас уверенность, теперь мы спали крепко и встречали каждое утро с радостью. Куда делось прежнее ощущение давящего одиночества? Мы жили и работали в новой, доселе нам незнакомой, дружной, большой семье.

Позже я поняла значение того, что с нами происходило в те дни: бессознательно для самих себя, благодаря труду, мы, конечно, менялись, и окружавшие нас люди стали иначе к нам относиться. Молодежь Рублева стала мне близкой. Никогда не забуду я Мефодия Фирсаева с его прекрасными зелеными глазами, черноволосого Петю Константинова, веселого шутника Шуру Мельникова, Мишу Макарова, игравшего на первой мандолине в нашем оркестре. А Сережа Еремич, голубоглазый светловолосый слесарь! Как я плакала, когда нечаянно разбила раковину умывальника в нашей комнате, а он тут же пришел, поставил новую и уверил меня, что просто списал ее как негодную, а потом оказалось, что он оплатил ее, будто сам разбил... О замечательных девушках Рублева я бы хотела когда-нибудь написать особо.

Иногда меня по школьным делам посылали в Москву. Эти поездки были для меня очень тяжелы. В те дни Рублево непосредственно с Москвой сообщения не имело. Надо было ехать или на курсирующем между Рублевым и Москвой грузовике, или же садиться на рублевский паровичок, который по своей, рублевской ветке-одноколейке довозил до Немчинова Поста, а оттуда уже пересаживались на обычный поезд, идущий

щий в Москву. Так как зимой на грузовике в легком пальто я бы окончательно замерзла, я предпочитала рублевский паровичок.

Чтобы успеть к семи часам утра в открытое выюжное поле, надо было выходить в полной темноте. Там на узкие рельсы, похожие на игрушечную железную дорогу, рублевский парень по прозвищу Володя-паровоз подавал свой поезд. Состоял он из допотопного смешного паровозика с невообразимо высокой дымящей трубой и двух старых-престарых товарных вагонов; они были настолько ветхими, что в их щели можно было наблюдать за мелькавшими мимо пейзажами. Ветер с яростью гулял по вагонам.

Я приходила в это поле на место посадки пассажиров в своем пальтишке, прошагав по колено в снегу в коротких кожаных ботинках. Вся закоченев, вскарабкивалась в этот продырявленный со всех сторон вагон, а Володя-паровоз, короткорукый приземистый парень, блестя белками голубых глаз на вымазанном сажей лице, весело подпрыгивая от мороза, кричал взбиравшимся на ходу пассажирам:

— А ну садись веселей! А ну веселей, не задерживай!

Я приезжала в Москву, разлуку с которой только что так тяжело пережила, но теперь она казалась мне чужим, мрачным городом: трамваи не ходили, тротуары были занесены сугробами, а бескончаемые вереницы пешеходов с узелками в руках и с мешками за спиной уныло тянулись вдоль мостовых. Все ехало куда-то за хлебом, а обратно в Москву привозили тиф. Город был охвачен эпидемией. В нетопленных квартирах с мигающими котящими светильниками, с замерзшими кранами водопровода, в холоде лежали люди с брюшным и сыпным тифом.

Набегавшись за целый день по учреждениям, я наконец попадала в Александровский вокзал, в когда-то благоустроенный зал ожидания для пассажиров дальнего следования. От прежнего комфорта здесь остались теперь только несколько мягких кресел и один диван. Устроившись, если повезет, в одном из кресел, я не отрываясь следила за стрелкой на циферблате круглых настенных часов. Я рвалась всей душой обратно в милое Рублево, ставшее мне домом. В теплую, сухую комнату казармы, к вечно кипящему кубу — источнику нашей жизни. Ведь даже если не было чая для заварки, не было сахара, было столько горячей воды, что можно мыться сколько душе угодно. Я думала о своей работе, о новых друзьях, которые заменили мне семью, и Москва не манила меня больше...

Так шло время, пока не наступил день, который сыграл решающую роль во всей нашей последующей судьбе.

Это было ранней весной, зима еще не сдавалась, обильные тяжелые снегопады наметали высокие сугробы, делая все дороги либо кривыми, либо сравнивая их со снежным полем. Намеченный в Рублеве вечер с артистами из Москвы был сорван. Кто говорил, что жонглеры, эквилибристы вместе со своей сложной аппаратурой и лентой нового фильма застряли на полдороге и вынуждены были вернуться обратно в Москву. А кто утверждал, что артисты сами отказались, нашли себе для выступления место поближе и всю вину за срыв вечера свалили на бездорожье. Одним словом, узнали мы об этом всего за три-четыре часа до начала вечера, объявленного в заранее расклеенных по Рублеву афишах. Что делать? Народ из окрестных деревень Павшина и Захаркина, любивший прийти заранее, чтобы занять лучшее место, уже понемногу стекался. Молодежь толпилась у входа в клуб, несмотря на сильный ветер, прогуливалась парно и группами по расчищенным от снега аллеям. Организаторами вечеров, всей просветительской работы в клубе, конечно, были учителя. Они и теперь решали спасать положение. Забрав меня с собой, педагоги отправились в школу, в учительскую комнату, к роялю. Концерт решили устроить собственными силами.

Вскоре в дверь постучались несколько жен инженеров, желавших тоже принять участие в этом вечере самодеятельности, и одна девушка из рублевской конторы, бухгалтер, у нее был довольно приятный голос. Как я уже говорила, учительница Александра Николаевна Ивакина имела в своем репертуаре арию Любавы из «Садко» и две песни Леля из «Снегурочки». Другая учительница, неплохо игравшая на скрипке, стала со мной репетировать «Баркаролу» Мендельсона. Самая молодая, кажется, ее звали Валерия Александровна, своим чистым, нежным голосом решила спеть «Сирень» Рахманинова, а жена одного инженера, жгучая, эффектная брюнетка, приготовилась выйти на эстраду в сверкавшем платье, затканном золотым бисером, и спеть цыганские романсы «Ну, быстрее летите, кони», «Где бубна звон, гитары стоны» и даже песен-

ку из оперетты «Гейша»: «Если рыбка плеск, плеск, плещет...» Седоусый заведующий школой взялся прочесть несколько смешных рассказов Чехова. Но все же для того, чтобы заполнить два отделения, исполнителей не хватало.

— Моя мама могла бы что-нибудь спеть! — вдруг воскликнула я, совершенно не подумав, какие последствия может иметь мое предложение.

Члены культкомиссии с удивлением на меня посмотрели.

— Она поет? — спросил кто-то.

— Наверно, какие-нибудь русские песни? — слегка улыбаясь, спросила жена инженера, исполнительница цыганщины; голос ее звучал насмешливо, в самом тоне было превосходство.

Вопросы посыпались на меня со всех сторон. Что-то горячей волной захлестнуло мою душу, я была оскорблена за мою мать.

— У моей матери классический репертуар, она певица, — ответила я, стараясь казаться спокойной.

— Она где-нибудь училась? Какой у нее голос? Почему же мы до сих пор об этом не знали?

— В свое время моя мать окончила Московскую филармонию вместе с Леонидом Витальевичем Собиновым. Они учились у профессора Бежевича, и на выпускном концерте моя мать исполняла с Собиновым сцену рассвета на балконе из оперы «Ромео и Джульетта»! — выпалила я и уже понеслась закусив удила, ни о чем не думая и ничего не соображая. — Потом моя мать совершенствовала вокальное мастерство в Италии. Первые ее дебюты были в Милане, в «Ла Скала». Она пела Микаэлу в «Кармен» и партию Тоски. Моя мать давала свои первые концерты в Палермо...

Никакая разрывная бомба не могла бы произвести такого действия, как этот мой монолог. Но назад дороги не было. У меня уже вырвались эти невозвратимые слова!

Моя бедная, застигнутая врасплох мать не могла противостоять просьбам всех тех, кто пришел за ней в барак рублевской столовой. Худенькая и прямая, как тростинка, стояла она в своем белом халате около котлов, энергично отмахиваясь от просьб, походая на какую-то большую белую птицу, машущую крыльями. Но никакие отговорки не помогали, и она вынуждена была сдаться.

Потом моя мать стояла в казарме в нашей комнате, а я ползала на коленях по полу и закалывала на ней одно из ее уцелевших черных платьев, которое мы привезли с собой в узле. Когда-то в 1914 году, во время первой мировой войны, мать работала в нем сестрой милосердия, надевая поверх белый халат. Оно вышло из моды и было несколько длинно. Я быстро его подколола прямо на матери, прикрепила к вороту белый кружевной воротничок — получилось скромно и прилично. Как пригодился этот завалявшийся где-то на самом дне узла воротничок! Всю работу я делала под неумолкаемый выговор моей матери, не смея поднять головы и посмотреть ей в глаза.

— У тебя нет совести, — укоряла она меня, — и как только ты посмела вынудить меня на это выступление? Ты, не окончив образования, заделалась педагогом. (Она так и сказала — «заделалась».) Я бы не удивилась, если бы ты вздумала ходить на эстраде по канату или встала перед всем честным народом вниз головой, от тебя я жду всего. Всего! Но какое право ты имела распоряжаться мной?

И она говорила еще много, много, вспоминая все мои провинности в детстве (вроде тайно устроенных цирковых трапедий на чердаке и моих кульбитов вниз головой), и под конец назвала меня источником всех своих несчастий. Но тут я уже не выдержала:

— Вы все время твердили мне, что наш долг — приносить пользу всюду и везде, где только она нужна. Разве я прошу о том, чтобы вы пели для развлечения на квартире какого-нибудь рублевского инженера, на его семейном торжестве? Надо вырывать из беды, вам известно, что артисты из Москвы подвели нас и не приехали? Известно вам, что вечер сорван? Клуб — это не частное предприятие. Вы будете петь для всех.

— Хорошо. Хорошо, умолкни. Я давно уже убедилась в твоих юридических способностях, — улыбнулась мать. Больше она меня не бранила.

Мы пошли с ней репетировать, до концерта оставалось полчаса. Я очень хорошо знала, что после такого длительного перерыва и после многих переживаний петь в совершенно необычной обстановке моей матери будет нелегко. Сев за рояль и взяв первые ноты обычных вокальных упражнений, я была испугана и матовым звуком ее голоса, и каким-то полным ее внутренним равнодушием. «Неужели, неужели же все-

му конец?» — думала я, и мне казалось, что ей уже никогда больше не деть так, как она когда-то пела... Мать перешла на арпеджио: первое, второе, третье, все выше, выше по тональностям идет ее голос, и вдруг неожиданно он очистился, заиграл прежними красками, вот уже он, ее собственный голос, овладел ею, и она сама в плену этих звуков, с загоревшимся румянцем на щеках, помолодевшая, с блестящими глазами. Волнение мое улеглось. И я уже спокойно и уверенно раскрыла папку нот маминго репертуара.

Рублевцы были разочарованы. Еще бы! Вместо настоящих артистов из Москвы на сцене стали появляться давно знакомые и примелькавшиеся лица педагогов. Но мало-помалу зрители успокоились и увлеклись программой. Зал дружно покатывался со смеху, когда строгий заведующий школой мастерски в лицах изображал персонажей чеховских рассказов.

В конце первого отделения на эстраду вышла моя мать. Ее встретила гробовая тишина, выражавшая недоумение. Затем с разных концов зала словно искры стали вспыхивать смешки. Рефлекс был естественным: ведь моя мать ассоциировалась в представлении рублевцев только с их столовой, с ворохом грязной и стопками чистой посуды около обеденного меню. И что это? Вдруг она осмелилась, набралась храбрости...

Я неуверенно заиграла фортепианное вступление к романсу Калининкова. «Острой секирой ранена береза... по коре серебристой покатались слезы...» — зазвучал голос матери. В то время как голос ведет широкую мелодию, аккомпанемент звучит то мерными ударами стали, то растворяется в плавных, широких аккордах. «Ах, не плачь, береза, бедная, не сетуй! Рана не смертельна, вылечишься к лету...» — поет мать, и голос ее плавно и уверенно звучит в абсолютной тишине. Зал притих.

После грома аплодисментов словно гимн радости врывается в тишину зала романс Рахманинова «Вешние воды». «Весна идет! Весна идет! Мы — молодой весны гонцы, она нас выслала вперед!» — поет мама, и голос ее на грудных нотах льется широкой, мягкой, горячей волной, а поднимаясь ввысь, звучит упруго, верно, чисто. Потом романс Глиэра «Жить! Будем жить!». В музыкальной фразе «В неведомую даль свободные пойдем!» ее высокий, чистый голос затопил весь зал. Мне стоило большого самовладения не сбиться с такта, в самом конце меня спасли только мощно льющиеся волны голоса, в которых потонули кое-как сыгранные такты аккомпанемента... Слезы застилали мне глаза. Это были слезы счастья.

Не бурные аплодисменты и крики «бис» были тому причиной, а радость за мою мать. До этого дня, до этого часа она казалась мне мертвой, выжженной страданиями, опустошенной. И как могла она найти в себе такие силы, такую радость, такой огненный подъем!.. Измученная, усталая, изнуренная, она на моих глазах возродилась точно из пепла, она предстала передо мною светлая, сияющая, молодая...

Наблюдая за бурей в зрительном зале, я старалась выискнуть в причину восторга, который вызвала моя мать. Может, это было всего-навсего изумление? Как это она, с виду такая незаметная и немолодая женщина, которая в столовой отпускала им обед и была всегда такой сдержанной и молчаливой, — как это она вдруг вышла на сцену и запела «вроде» артистки! Может быть, только удивление могло родить такие бурные проявления восторга?..

Но во втором отделении концерта я убедилась, что ошибаюсь. Эти простые люди, рабочие, прекрасно чувствовали настоящее искусство, чутьем угадывали его. Они сразу поняли, что на фоне самостоятельности перед ними выступает, поет настоящая певица, они оценили и голос и выразительность драматического исполнения. Потом мать пела арию Маргариты («За пряхкой, пряхкой...») и арию Тоски («Сцене и любви посвящала я жизнь...»). За кулисами ее обступили, из зрительного зала нахлынула рублевская интеллигенция, жены инженеров целовали ее, все хотели пожать ей руку, спрашивали, почему же она до сих пор молчала. Все наперебой звали нас после концерта к себе выпить чашку чая. Но мы отказались, так как ни разу ни у кого из них не бывали.

Никогда не забыть мне того памятного вечера.

Наконец мы вернулись домой, в казарму, в нашу комнату. У моей матери было то выражение лица, которое я помнила в детстве, на ее щеках еще не погас взволнованный румянец. Но, конечно, как всегда, она была мною недовольна.

— Надо же было тебе все это затеять! — повторяла она. — Зачем? Прекрасно бы обошлось и без меня... И что ты только наделала! Вот теперь и пойдут разговоры, вопросы... всякие догадки. Жили мы тихо, работали, и все было хорошо...

— Мама! Мама! — целуя ее, говорила я. — Не волнуйтесь, все будет хорошо! Вот увидите. Не может быть плохо! Не может!!!

А в груди у меня не унималась радостная тревога, точно я только что присутствовала при чем-то чудесном, неожиданном, замечательном. Отблеск этого чуда я еще видела отраженным на мамином лице, и я боялась, что с каждой минутой это чудесное исчезает и что вновь я увижу перед собой уставшую, измученную женщину...

Мы принялись за ужин: маленький котелок заранее сваренной картошки, завернутый в газету и прикрытый одеялом, стоял на нашем матрасе из сена. Мороженая, в черно-розовых пятнах, она была скользкой и все время старалась выпрыгнуть из рук, в то время как ее чистили. Из котелка шел приторный, сладковатый запах. Эту картошку мы запивали «чаем», который состоял из кипятка с кусочком сушеной, совсем черной свеклы — она заменяла сахар вприкуску. Но нам в те голодные дни это казалось настоящим пиром, и мы были счастливы, что завоевали свою жизнь собственным трудом.

На другой день моя мать была вызвана в рабочий комитет Рублевской насосной станции.

— Каким образом вы попали к нам в Рублево? — спросили ее, когда она, взволнованная, пришла по этому вызову.

— Меня направила к вам биржа труда.

— Это я и без вас, сам знаю, — сказал председатель. — Насколько мне помнится, вы приехали к нам сюда оформяться даже не на должность заведующей столовой, а на должность старшей поварахи?

— Да.

— Почему? Что вас, человека с образованием, заставило устраиваться на подобную должность? Ведь она совершенно вам не соответствует.

— Другой для меня на бирже труда не было.

— Почему?

Мать молчала.

— Почему? — повторил свой вопрос председатель. — Объясните откровенно. Я спрашиваю вас не как начальник, я спрашиваю как товарищ. Ответьте, почему?

— Такова моя анкета. Другую работу мне не хотели доверить.

— Но, насколько мы понимаем, вы прежде всего певица, — с непонятной строгостью сказал председатель. — Ваше место совсем не в столовой. Вы показали себя хорошим, честным работником, отличной кулинаркой, и мы готовы дать вам лучшую характеристику. Сейчас крайне необходимы работники искусства, и наш вам совет: поезжайте в Москву, мы дадим вам направление в Рабис⁴. Пройдете экспертизу, станете советским педагогом и будете учить нашу молодежь петь так, как поете вы... Наш долг вам в этом помочь. Подумайте и решайте!

Милое Рублево! Нам уже было трудно оторваться от него сердцем. Мы обжили его, оно стало нам родным. Мы завоевали его.

Мать долго медлила с ответом. Молчала и я. Наверно, в нашем желании покинуть Рублево решающим было то обстоятельство, что после маминого выступления на вечере к нам со всех сторон стали проявлять повышенный интерес. Кто мы? Где раньше жили? Чем занимались и так далее... Это любопытство шло от интеллигенции Рублева, которая до того дня с нами даже не кланялась.

Так дальше продолжаться не могло, и однажды вечером, возвратясь с работы, мать мне сказала:

— Надо ехать. Председатель рабочего комитета еще раз сегодня говорил со мной, и направление мне в Рабис дают. Не знаю, справлюсь ли я с новой работой...

— Мне кажется, она будет для вас во сто крат легче рублевской столовой, — ответила я. — Но вот как мы будем расставаться с нашими друзьями?..

Теперь каждый день, проведенный в Рублеве, был для меня полон печального значения. Я не знаю, к кому из молодых рублевцев я больше всего была привязана, я любила всех и со всеми обещала обмениваться письмами, обещала писать и никогда, никогда не забывать...

Тут мы с матерью вспоминали о нашем сундучке с драгоценностями, и мать, встретив в столовой Ивана Ивановича, с семьей которого мы сошлись очень близко, попросила его принести сундучок к нам в казарму.

⁴ Профсоюз работников искусства.

— Я его для сохранности в сарае у себя закопал, — ответил Иван Иванович, — пол-то у меня там земляной. Ладно, ужо вечером принесу...

День нашего отъезда приближался, мы отработывали последние дни нашей службы, «ужо» все длилось. То ему было некогда, то он забывал нашу просьбу, то находился еще какой-нибудь предлог.

— Конечно, — вздохнув, сказала мать, — разве возможно было так искушать человека? Да кто бы выдержал подобное испытание? За это и винить его нельзя. И семья у него большая... Ну, значит, сама я и виновата, и нечего об этом жалеть.

И в тот самый вечер, когда мама это сказала, к нам в казарму пришел Иван Иванович. Под мышкой он держал сундучок.

— Ведь вот проклятый! — сказал он, улыбаясь и передавая сундучок матери. — Ведь он, подлец, словно живой! Взял да под земаю и ушел! Право слово! И место я отметил, как его закапывал... а он взял да исчез! Вот оказия-то! Не нашел его, пока весь пол не изрыл. Только когда лопата моя о крышку стукнулась, а он тут! Вот чудеса! Право слово, чудеса!

Да, это было действительно чудо, необыкновенное живое чудо, этот стоявший перед нами человек, отиравший пот со лба, уставший и радостный. Он смотрел нам прямо в глаза своим хорошим, открытым взглядом, и мы с матерью с невольным стыдом опустили перед ним глаза.

— Нет, нет, постойте! — вдруг серьезно, почти строго заговорил Иван Иванович, потянувши из рук матери назад в свои руки наш сундучок. — Как вы мне его тогда отдавали и все три полочки в нем показали, так и сейчас при мне отпирайте и смотрите, все ли цело.

При этих словах мама обрадовалась, просияла:

— Ну конечно, конечно! Очень рада этой вашей просьбе, садитесь, пожалуйста.

Она подвинула Ивану Ивановичу табуретку, а сама, достав ключ, стала отпирать заостренный сундучок.

Тут последовала долгая взволнованная сцена между матерью и Иваном Ивановичем. Мама хотела во что бы то ни стало что-то ему подарить, а Иван Иванович стал не на шутку сердиться. Вскоре он стал уже повышать голос и рваться к двери, но тут мама нашла какие-то живые, хорошие слова, и он, смягченный ими, остановился и выслушал ее.

— Поймите меня, — говорила мама, — ведь если бы я вас просила об услуге, то я еще отдавая вам этот сундучок, сразу подарила бы что-то. В первом отделении сундучка лежит бумага, выданная мне из банка. Вы читали ее и убедились, что не от советской власти я его прячу. Приехала я сюда, в Рублево, с дочерью, чтобы здесь жить и работать, а вот видите, как все сложилось. Теперь Рублево отсылает меня обратно в Москву. Вы все стали нам родными, сколько вечеров мы провели в вашей семье, и неужели же в минуту нашей разлуки я не имею права оставить вам что-нибудь на добрую память! Никто не знает, как сложится наша судьба, что нас ожидает в самом недалеком будущем. Я надеюсь, что вы не обидите меня отказом.

Прошло много, много лет. Прошла вся жизнь. За эти годы по всяким причинам погибло очень много важных для нас с мамой документов и только случайно кое-что уцелело. О нашем первом трудовом крещении в Рублеве на руках у меня осталось две справки.

Первая. Обращение в Москву, в МОНО. Это был отзыв школ первой и второй ступени Рублевской насосной станции о том, что в 1918 году я провела пробные занятия педагога по пению, что моя кандидатура желательна и что они просят об утверждении меня на эту должность. С этим обращением в Москву ездили сами учителя, прося провести меня заочно, перепечатаваю конец фразы дословно: «...так как школа № 5 Пресненского района находится в 15 верстах от Москвы и частые отъезды школьных преподавателей в город вредно отзываются на занятиях». Бумага эта помечена штампом Рублева от 17 ноября 1918 года, а заочно провели «педагога» потому, что нельзя было им показать несовершеннолетнюю девочку с растрепанными косами...

Вторая справка — из художественно-профессионального Союза музыкантов-педагогов, — выданная в августе 1920 года при возвращении моей матери реквизированного у нас рояля, оканчивается следующей фразой: «Инструмент рояль за № 107480 фабрики Бехштейн по Поварской 22 кв. 5 составляет необходимую принадлежность профессиональной деятельности, ввиду чего реквизиции не подлежит».

Уцелевшие люди нашего класса, спрятавшиеся по своим целям, хихикали, пожали плечами: «Подумайте только! Это просто анекдот! В двадцатом году большевики вернули княгине Мещерской ее рояль!»

Да, в их искаженном, злобном восприятии это могло звучать только так. Дело же в том, что едва только моя мать со всей искренностью включилась в общую трудовую жизнь, ее оценили, поверили ей, и она смогла приносить пользу. И непонятная для обывателей сила заключалась лишь в одном, в нашей полной искренности. Нельзя плодотворно работать, если прятать чувство притупленной злобы и мести в душе. Этот скрытый от людей злобный огонь, тлея внутри человека, постепенно деформирует его и приводит к полной опустошенности. Когда искренно и горячо отдаешься труду и желаешь принести пользу другим, смолкают личные обиды и личные счёты, а труд становится радостью.

Мы с матерью были не единственными, многие, многие, как и моя мать, остались на родной земле, и наш общий путь был далеко не легким.

Первая рублевская бумага (о моем назначении педагогом) хранит на себе еще и другой штамп, поставленный на ней через пятнадцать лет. Это штамп совсем другого советского учреждения. Штамп этот длинный и узкий, на нем два слова очень крупными буквами: «ПАСПОРТ ВЫДАН» — и стоит год — 1933. Год первой советской паспортизации. Она проходила для большинства быстро и легко. По алфавиту, автоматически человек протягивал свое удостоверение личности, получая тут же в обмен первый паспорт Советского Союза. Но так было не со всеми. Мы с мамой были заранее уволены с работы, лишены свободы и находились в одиночках, даже не видя друг друга.

И тот, кому пришлось поставить на последнем допросе свою подпись, оказался одним из трех ссыльных, нашедших убежище в нашем доме весной 1914 года.

Наш помещичий дом в Покровском был окружен огромным тенистым парком, настолько густым, что издали он казался лесом. Ночью спускали с цепей собак, и три сторожа с винтовками за плечами и с деревянной колотушкой в руках всю ночь обходили парк. Мы, дети, любили засыпать под стук этой то приближающейся, то удаляющейся колотушки.

И вот однажды в свежую, темную, безлунную ночь мы были разбужены громким лаем собак и неоднократными выстрелами. В нашем парке поймали трех неизвестных. К счастью, сторожа обычно стреляли в воздух, больше для острастки, зато собаки, фактически задержавшие неизвестных, во многих местах покусали им ноги.

Управляющий доложил маме, что задержаны беглые каторжники.

Ночью, как впоследствии оказалось, шел товарный поезд, который вез ссыльных. Три смельчака, воспользовавшись тем, что их везли в последнем вагоне, оторвали от гнилого пола две доски, а затем, уловив минуту, когда поезд медленно проезжал железнодорожный мост, через отверстие пола один за другим выскользнули и легли на полотно между рельсами. Вагон был последним, и их ничем не задело, а конвоир-часовой сидел на площадке последнего вагона и мирно дремал под стук колес.

Блуждая в темноте, беглецы увидели вдали густой лес; они направились к нему. Он оказался обнесенным высокой оградой. Не задумываясь они перелезли через нее, очутились в нашем парке и были тотчас пойманы.

Наш домашний врач оказал им первую помощь: дезинфицировал, перевязал покусанные собаками ноги. Затем беглецов заперли в пустой бане и поставили у ее дверей сторожа с винтовкой.

Беглецы вызвали во всем доме необычайный переполох. Несмотря на то, что баня стояла на заднем дворе, все боялись выходить из дома, а если это необходимо было сделать, то перебегали через двор, дико озираясь и крестясь. Во всем доме зажгли огни и не тушили до самого утра; никто уже в эту ночь не ложился, и рассвет все встретили на ногах. Все разговоры были только о злоумышленниках.

— Что прикажете с ними делать? — спрашивал управляющий, стоя в кабинете перед мамой. — Вызвать сюда урядника или везти их к самому земскому начальнику?

— Да кто же они такие? — озадаченно спросила мать. — Вы их спрашивали?

— А чего их спрашивать? Жуликов-то? Известно кто — каторжники. Власть их передать надобно, вот что!

— И думать не смейте! — рассердилась мать. — Прежде всего никому ни слова, ни одного слова. И давать о них знать тоже никому не смейте. Забудьте об этом.

— А что же с ними делать прикажете? — изумился управляющий. — Что же делать-то?

— Как что? Прежде всего истопить баню, надеть на них все чистое, а казенное снять и сжечь. Затем накормить как следует, а потом... — Тут мама немного помедлила, но затем твердо приказала: — А потом привести их сюда ко мне, всех троих...

— Сюда?!

— Да, очень просто, сюда вот, в мой кабинет. Ну чего вы ждете?

— Ваше сиятельство! — возопил управляющий. — Да что же это вы задумали? Да где же это видано? Против закона-то? Да их немедленно властям передать надо, ведь это не люди, а каторжники! Страх-то какой!!!

— Вот и отлично, что каторжники, — уже совершенно спокойно и весело сказала мама, — я их никогда в жизни не видела и хочу посмотреть, какие они бывают...

Приказание матери было выполнено. Она была очень удивлена, когда через несколько часов в ее кабинет вошли трое юношей; двое из них были русские, третий — еврей. Они остановились на пороге и смотрели на нее враждебно.

— Вы должны извинить меня, — волнуясь и не зная, с чего начать, заговорила мать, — я не собираюсь учинять вам допросов, они без того, наверно, вам надоели. Не буду я также спрашивать ваших имен и фамилий; вы все равно себя не назовете, а мне это совершенно неинтересно. Мне бы хотелось знать только одно: какое преступление совершил каждый из вас? За что вас приговорили к ссылке?

Сначала было гробовое молчание. Потом один из всех ответил:

— Мы подпольщики.

— Подпольщики? — протянула мама.

Увидев выражение полной растерянности и непонимания на ее лице, один из троих пояснил:

— Мы, собственно, студенты Московского университета, а сосланы были потому, что мы политические.

— А-а! Ну так бы сразу и сказали, — обрадовалась мама, и разговор быстро завязался.

Через каких-нибудь пять минут любопытные, подглядывавшие в замочную скважину, увидели, что мама с тремя каторжниками сидит на диване и все четверо погружены в интересную беседу.

А студенты между тем рассказывали, что народ готовит свержение самодержавия, что потом будут отбирать все земли у помещиков и будут уничтожены все классы. Мама задумалась.

— Ну что же, — сказала она, — все может быть. Боритесь за свои идеи, если считаете их правильными, но мне-то что с вами делать? У меня вы, конечно, в полной безопасности, здесь никто не посмеет вас искать. Да и кому придет в голову, что княгиня Мещерская укрывает политических, к тому же еще приговоренных и бежавших? Но что дальше? Я не могу помочь вам в самом главном, в самом необходимом: достать вам всем троим паспорта. А в остальном — живите сколько хотите, и даю вам слово, что здесь никто вас не предаст.

— Ну что ж, и на этом спасибо, — ответили беглецы. — Поживем сколько нам нужно, а потом и в путь. Исчезнем один за другим.

— Только уж, пожалуйста, перед исчезновением зайдите ко мне и скажите, — попросила мама. — А о вашем устройстве я позабочусь.

Таким образом, политические остались у нас жить до самой глубокой осени. Никто на них не донес. Это было возможно только при том уважении, которое испытывали окружающие к такому человеку, каким была моя мать. Она распорядилась, чтобы политическим были отведены комнаты во флигеле управляющего, где они расположились со всеми удобствами. На другой же день они попросили книг. Мать предложила им составить список, и книги были им немедленно доставлены. Но этим они не удовлетворились, и зачастую мы заставляли то одного из них, то другого стоявшим на лестнице и отыскивавшим какую-нибудь книгу в нашей домашней библиотеке. Все трое тотчас завели самую деятельную переписку с Москвой и Петроградом, причем всем, конечно, было совершенно ясно, что получали они свою корреспонденцию на вымышленные фамилии.

На меня «каторжники» произвели огромное впечатление, так как в моем детском воображении все они отождествлялись с Жаном Вальжаном. Несмотря на самые строгие замечания гувернантки, упрекавшей меня в неприличном поведении, я разгля-

дывала их во все глаза, когда они нам встречались в парке, да еще к тому же беспрестанно оборачивалась им вслед, вытягивая шею, как гусь. Моя жадная до романтики душа ждала необычайного. Конечно, подсвечников серебряных они красть не станут, поскольку об этом уже написал Виктор Гюго, но они могут, например, взять и украсть мою препротивную гувернантку, и тогда я буду свободна, пока найдут другую. Няня Пашенька всем своим поведением подтверждала мои догадки. Завидя еще издали кого-нибудь из беглецов, она менялась в лице и, истоиво крестясь, повторяла:

— Спаси, господи! Помилуй, господи, спаси и защити!

В часы позднего вечера, в полусвете лампы, сидя возле моей кровати, няня Пашенька шептала как бы про себя, качая своей белоснежной головой:

— Зло по миру ходит невидимо, оно от глаза человеческого хоронится, найдет себе местечко да в нем и приютится...

Няня говорила это, устремив взгляд на киот с образами. В ее больших светлоголубых глазах, увлажненных набежавшей слезой, отражался красноватый огонек лампы, вокруг головы поблескивали серебряные нити тонких, отделившихся от пробора волос.

— Согрешила наша княгинюшка, — продолжала няня, — согрешила перед господом и царем, грех на свою ангельскую душеньку взяла: приютила белая голубка черных коршунов. Быть беде... быть беде...

Наступало утро следующего дня, и я снова и снова жадно рассматривала «черных коршунов» и разочаровывалась. Это были самые обыкновенные юноши, и в них не было ничего таинственного и страшного. Вскоре я перестала ими интересоваться.

А политические тем временем чувствовали себя неплохо; по вечерам мама часто беседовала с ними, сидя в парке на скамейке, а иногда, когда у нас никого не бывало из гостей, все трое пили с нами вечерний чай. Они подбирали матери книги для чтения, помню, в те дни я увидела книгу, лежавшую в нашей гостиной, и прочла заглавие по складам: «Что делать?», роман Чернышевского.

День Петра и Павла был большим храмовым праздником в Петровском. Как обычно, в этот день у нас после обедни в церкви бывал большой обед для духовенства и местных властей. Перед чаем, гуляя по аллеям парка, земский начальник столкнулся нос к носу с политическими, которые читали, сидя в беседке около пруда.

— Княгиня, — почтительно спросил земский, — кто эти молодые люди? Я не заметил их за вашим столом.

— И неудивительно, — спокойно ответила мама, — к сыну моего управляющего приехали племянник и два его товарища.

На том разговор и кончился.

Поздней осенью перед самым отъездом в Москву политические скрылись. Каждый из них пришел проститься с мамой. Мне неизвестно, как происходило это прощание, и я не хочу придумывать их последнего разговора. Знаю только, что каждый получил на дорогу еду, одежду и по 250 рублей деньгами. Мама велела каждому из них увязать в портплед одеяло и подушку, но они запротестовали:

— Это совершенно невозможно! Мы должны походить на дачников и не возбуждать никаких подозрений.

В тот год осень была на редкость неприветливой и хмурой. Ясных дней почти не было. Аллеи парка были усеяны мертвыми мокрыми листьями, которые не шуршали под ногой, а лежали ржавым влажным пластом. Мама в те дни была задумчива, грустна. Время от времени в доме топили печи. Наступали длинные осенние вечера, и мы все часто собирались у камина. Но не было больше неисчерпаемых веселых вечерних рассказов, разговор не клеился.

О политических было запрещено говорить с первого дня их появления в нашем доме, и теперь о них тоже никто не упоминал, но каждый про себя вспоминал этих людей, так неожиданно появившихся, соприкоснувшихся с нашей жизнью, а затем так бесследно исчезнувших...

Прошло очень много лет, и кто бы мог предположить, что случай с «каторжниками» будет иметь столь важные последствия в нашей жизни, что именно он явится нашим спасением!

То был суровый, самый роковой год для всех «бывших», живущих в Москве. Было известно, что ни один из «бывших», тем более титулованных, не получит паспорт и не будет иметь права жительства в столице. Те, кому были предъявлены какие-

либо обвинения, арестовывались заранее, а остальным предстояло получить сто первый километр от Москвы, конечно, если к личному его делу не прибавилось каких-либо доносов. Как известно, для некоторого сорта людей подобное действие являлось возможностью свести личные счеты и выслужиться. То было время многочисленных, в большинстве случаев дутых доносов.

Феликса Эдмундовича, помнившего историю с «Мадонной» Боттичелли и не раз выручавшего нас из беды, не было уже в живых, а потому нас постигла участь многих.

Сначала нас с матерью уволили с работы. Затем домоуправление вывесило наши фамилии в списках «лишенцев» нашего дома. Всего нас было трое: известный бывший золотых дел мастер М. В. Кишиневский, имевший когда-то на Арбате ювелирный магазин, затем моя мать и я.

В назначенный день клуб при домоуправлении стал наполняться народом. Люди толпились даже во дворе у самого входа. Комиссия по выдаче паспортов заседала не в зрительном зале, а за сценой в артистической. Оттуда и показывался помощник секретаря, вызывавший по фамилии следующего. Отобрав удостоверение личности, комиссия тут же взамен выдавала первые советские паспорта.

Прошел долгий, мучительный день. Подошел вечер. Давным-давно уже прошла и буква «К» и буква «М», нас все еще не вызывали. Мы сидели все трое в опустевшем душном, прокуренном помещении и ждали своей участи.

Вдруг дверь, ведущая в зрительный зал, распахнулась. Вошли двое в военной форме и, поднявшись на эстраду, скрылись за сценой, где заседала паспортная комиссия.

Вслед за пришедшими нас тут же вызвали. После двух-трех кратких вопросов сидевшие за столом отобрали наши удостоверения личности и, ничего не дав нам взамен, приказали следовать за военными. Нас вывели через запасную пожарную дверь на заднюю часть двора, где дожидалась уже давно знакомая всем черная закрытая машина, так называемый черный ворон.

Мы еле держались на ногах от усталости. К тому же от волнения мы целый день не могли проглотить куска хлеба. Когда машина тронулась, я поняла, что мне никогда больше не ходить по улицам Москвы и не видеть любимого города.

Я миную многие подробности, так как не хочу много вспоминать и тем более не хочу оставлять этого написанным на бумаге. Скажу только, что на этот раз мы оказались не в Бутырках, не в Новинской женской тюрьме, не на Таганке, а нас привезли в само здание Лубянки и посадили в его подвал. С мамой меня разлучили, и это было самым тяжелым для нас обеих...

Сидела я в одиночке. Допросы шли ночью. Спать совершенно не давали. Почему нас на этот раз посадили на Лубянку, мне было ясно: первый советский паспорт должны были получить строго проверенные люди. Все, кто был недостаточно понятен и возбуждал малейшее недоверие, отменялись, вернее, выметались из советской столицы. С Лубянки нам была одна дорога — ссылка, а для того чтобы создать «дело», в те дни требовалось не так много времени. Предъявленные мне обвинения были настолько же нелепы, насколько и чудовищны: я агитировала против советской власти и призывала к восстанию; я имела связь с границей и хотела посадить на трон какого-то уцелевшего за рубежом родственника Романовых; я состояла членом какой-то тайной «пятерки», существующей в Москве, об этом я многим рассказывала, и есть свидетельские показания, кроме того, часть моих сообщников уже арестована, все они сознались и называли мое имя... Сначала я только улыбалась, слушая эту ни на чем не основанную клевету, но через несколько бессонных суток мне стало казаться, что я схожу с ума. Когда после очередного перекрестного допроса (меня допрашивали сразу три следователя) я отказалась подписать предъявленный мне список моих «преступлений», которых я никогда не совершала, мне было сказано, что я буду выслана по 58-й статье и еще по целому ряду параграфов на Крайний Север сроком на десять лет.

— Срок будет вам немного снижен, если вы сознаетесь, — криво усмехнулся следователь, поднося мне ручку.

Я отказалась. С невозмутимым спокойствием он поднес ручку к своим глазам, посмотрел, насколько чисто перо, потом обтер край пера о пресс-папье и уже без улыбки, с немим приказанием во взгляде протянул мне его снова. Я вновь отказалась дать свою подпись.

Тогда следователь, шумно отодвинув стул, встал и нажал кнопку звонка. Явился конвойный. Забрав мое «дело», следователь движением головы приказал вести меня вперед, а сам пошел сзади. Подойдя к лифту, он отпустил конвойного и вместе со мной

поднялся на какой-то высокий этаж. Кабина мягко остановилась. Мы вышли. Нога моя скользнула по ярко натертому паркету. Окна широкого коридора ослепили меня потоком солнца и света.

Мы вошли в большую комнату, походившую на зал. Пол ее был устлан ковром, вокруг стояло много густых зеленых растений. За большим, широким письменным столом сидел, низко склонясь над бумагами, военный. Мельком я увидела ромбы на его воротнике, но не обратила внимания, сколько их, и отвела от него взгляд. Тупая усталость и полное безразличие сковали меня. Я понимала, что все кончено, что судьба моя уже решена и что теперь дело только за пустыми формальностями.

Чтобы не упасть, я старалась почаще закрывать глаза; пол комнаты уплывал к потолку, а потолок напал на пол. У меня начинались головокружение и тошнота — признаки сердечного приступа. Сквозь туман я видела, как сидящий за столом поднял голову, скользнул по мне взглядом и обратился к следователю:

— Можете идти. Надо будет — позвоню.

Вытянувшись в струнку, словно испуганный рядовой, следователь быстро положил мои бумаги на стол, четко щелкнул каблуками, повернулся и вышел.

— Садитесь, — услышала я тот же голос. — Итак, вы не сознаетесь... отказываетесь подписать... не даете чистосердечного признания... отрицаете свою вину. — Он говорил медленно, с расстановками, совершенно безразличным и даже немного усталым голосом, в то время как глаза его быстро и зорко пробегали по моим бумагам.

Но вот глаза его внезапно остановились, точно загнулись, потом снова заскользили по строчкам.

— Да садитесь же! — уже почему-то раздраженно бросил он.

Стараясь не упустить, стараясь не показать дрожи пальцев, я ошупью нашла кресло и опустилась в него. Оно было огромное, кожаное, мягкое. На какую-то долю секунды я утонула в давно забытом ощущении сладкого покоя, но тут же мысль, точно игла, пронзила меня: все кончено, последние минуты... а где же мама? где? что с ней?..

— Ну, — заговорил сидящий за столом, — расскажите-ка мне, из кого состояла ваша семья. Мать? Отец? Какие родственники? Где они?

Я твердо решила не отвечать. Моя судьба была мне совершенно ясна: я погибну, не доехав до Севера. У меня не было ни пубы, ни валенок, ни теплого платка. На ногах у меня были открытые гуфля. Пальто холодное, выношенное, сшитое из старого военного одеяла. Все уже решено. Зачем эти вопросы? Зачем он мучает меня?

— Вы что? Не желаете отвечать?

— Я уже дала в анкете письменные ответы и не однажды повторяла все это устно. Чуть прищурившись, он смотрел на меня, потом еще строже произнес:

— Теперь спрашиваю вас я. Живы ли ваши родители?

— Только мать.

— А отец?

— Я родилась после его смерти.

— Как имя и отчество вашей матери?

Я ответила. Он почему-то нервно дернулся в своем кресле и сжал руками подлокотники.

— У вас были именина?

— Я же не владела именем, я была ребенком... Зачем это?

— Зачем, не зачем! Я спрашиваю, было ли у вас имя? Где? Как называлось?

— В Полтавской губернии...

— Здесь, под Москвой, было? Как называлось? — перебил он меня.

Я подняла на него глаза. Он явно волновался.

— Здесь, по Брянской дороге, были два: Петровское и Покровское.

— Покровское... Покровское, — точно припоминая, повторял он. — Там где-нибудь протекала речка? Над ней был железнодорожный мост?

Пораженная его странным любопытством, очнувшись от тяжелого полузабытья, я начала говорить, и сердце мое встрепенулось от неосознанной надежды. Я рассказывала, а его жесткий взгляд, так присущий людям допрашивающим, смягчился, глаза стали совсем человеческими, и мне даже показалось, что где-то в самой их глубине прячется улыбка. Он остановил меня движением руки.

— Вспомните, был ли случай, когда ваша мать скрывала у себя политических?

— Да.

— Ну-ну, как это было? Рассказывайте! Рассказывайте поподробнее все, что помните.

То, что произошло потом, может вполне сойти за сказку.

— Так, значит, вы и есть та самая девочка, которую вечно наказывали за шалости? — спросил он уже совсем по-хорошему, засмеявшись всем лицом. — А где же ваша мать?

— Ее уже нет в Москве... На допросах мне говорили, что она выслана на Соловки.

— Глупости. Это вас просто пугали. — Он снова улыбнулся. — У нас это бывает. Она здесь же, в другой камере. Хотите крепкого чаю с лимоном? — уже совершенно неожиданно предложил он, продолжая улыбаться каким-то своим мыслям. Подойдя ко мне, он положил мне руку на плечо. — Видите, как довелось встретиться.

Засунув руки в карманы, он несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, искося разглядывая меня. Я сидела окаменевшая, изумленная, не веря ни глазам своим, ни ушам... Потом, низко опустив голову, он стал мерить большими шагами свой огромный кабинет. Он шагал неутомимо, словно заведенный. Я не видела выражения его лица, но чувствовала, что он во власти воспоминаний, что перед ним проплывала жизнь, годы его тревожной, полной опасностей юности.

Мы вспоминали с ним одно и то же время.

Я вздрогнула и несколько мгновений не могла понять, где я... Потом осознала, что сижу в особом отделе на Лубянке, а незнакомый человек с ромбами продолжает оборванный разговор, который я не совсем понимаю и начало которого так тщетно ловит моя измученная память.

— Итак... итак... — медленно повторял он, как будто что-то обдумывая и про себя решая. В то же самое время он нажал черную кнопку звонка на письменном столе. — Сейчас вы будете пить чай с лимоном и бутербродами, а я тем временем займусь вашими бумагами. Может быть, попадется что-нибудь для оформления вашего паспорта... И маму вашу найдем... Обязательно найдем... А на трамвай у вас есть, чтобы домой доехать?

Такую бумагу он быстро нашел. Отобранная при аресте, она лежала одна из первых среди моих документов.

— Вот! — показал он мне ее. — Берегите ее как зеницу ока! Помните, что это не только ваше оправдание, но это ваше право на существование в нашем пролетарском государстве. — С этими словами он положил бумагу на стол. Потом выдвинул ящик, вынул из него длинный узкий штамп и, коснувшись мягкой чернильной подушечки, плотно прижал его к листу бумаги.

— Подождите немного, — улыбнулся он, — по этому документу вам выдадут паспорт.

Мою судьбу решила бумага от 17 ноября 1919 года, адресованная в МОНО, та самая, в которой школьный совет рублевской школы № 5 просил назначить меня преподавательницей пения, поскольку я уже провела месяц испытательных занятий и кандидатура моя, поддержанная школьным советом, оказывалась желательной.

Через всю мою жизнь пронесла я этот драгоценнейший документ, никогда с ним не расставаясь. В дни войны во время бомбежек я хранила его на своей груди.

Но это все было позднее, а тогда, в 1919 году, мы вернулись из Рублева в Москву, которую нам предстояло еще завоевать. Наша квартира № 5 на Поварской, в доме 22, была заселена. Нежилой оставалась только холодная, неотапливаемая кухня. В ней мы и поселились. Нашей двуспальной кровати с мамой стала широкая, окаймленная черным тяжелым чугуном плита.

Так свершилось наше первое трудовое крещение. Для Рублева мы мелькнули кратким, незначительным эпизодом, но для нас Рублево открыло своей первой записью страницу всей нашей последующей трудовой жизни.